Преступления прошлого

Автор:
Кейт Аткинсон

Преступления прошлого

Кейт Аткинсон

Джексон Броуди #1Звезды мирового детектива

Кейт Аткинсон – один из самых уважаемых и популярных авторов современной Британии. Ее дебютный роман получил престижную Уитбредовскую премию, обойдя многих именитых кандидатов – например, Салмана Рушди с его «Прощальным вздохом мавра». Однако настоящая слава пришла к ней с публикацией «Преступлений прошлого» – первой книги из цикла о кембриджском частном детективе Джексоне Броуди. Роман вызвал бурю восторга и у критиков, и у коллег по цеху, и у широкого читателя, одним из наиболее ярых пропагандистов творчества Аткинсон сделался сам Стивен Кинг. В романе «Преступления прошлого» частному детективу Джексону Броуди предстоит заняться делами, которые полиция давно списала в архив:
о таинственном ночном исчезновении маленькой девочки из родительского сада;
о немотивированном убийстве дочери известного адвоката, помогавшей ему в офисе; и о кровавом эпизоде домашнего насилия в молодой семье, живущей на ферме. Казалось бы, между всеми ними нет ничего общего, да и следы простыли давно, однако ниточки, переплетаясь, тянутся в настоящее и самым неожиданным образом сводят героев – каждый со своими скелетами в шкафах…

Кейт Аткинсон

Преступления прошлого

И познаете истину, и истина сделает вас свободными.

Ин. 8: 32

Посвящается Энн Макинтайр

Kate Atkinson

CASE HISTORIES

Copyright © 2004 by Kate Atkinson

All rights reserved

© Н. Нуянзина, перевод, 2010

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014 Издательство АЗБУКА®

Спасибо

моему агенту Питеру Страусу;

моему редактору Марианне Велманс;

Морин Алан, Хелен Клайн, Умару Саламу, Али Смиту и Саре Вуд за Кембридж в июле, Али Смиту – отдельная благодарность;

Рейган Артур, Ив Аткинсон-Уорден, Хелен Клайн и Марианне Велманс за то, что с энтузиазмом читали рукопись;

моему двоюродному брату, майору Майклу Кичу;

Стивену Коттону – он знает за что;

Дэвиду Линдгрену за историю про овец;

и, наконец, но не в последнюю очередь, Расселу Экви – богу всех средств передвижения.

1

Дело № 1, 1970 г. Семейный участок

Вот свезло так свезло. Невозможная жара в самый разгар школьных каникул, как нельзя вовремя. Каждое утро солнце поднималось раньше их, насмехаясь над поникшими летними занавесками в спальне, и наливалось липким зноем обещания, прежде чем Оливия открывала глаза. Оливия, надежная, как петушок, всегда просыпалась первой, и уже три года, с самого ее рождения, никто в доме не заводил будильника.

Оливия была младшей и потому спала в маленькой спальне, оклеенной обоями с героями детских стишков, через которую по очереди прошли они все и из которой каждую в свой срок выдворили. Она была хорошенькая, как ангелок, они все так считали, даже Джулия, которой понадобилось немало времени, чтобы смириться с потерей положения самой младшей в семье, – она занимала его пять отрадных лет, пока не появилась Оливия.

Розмари, их мать, говорила, вот бы Оливия никогда не взрослела, такая она прелесть. Никого другого из них «прелестью» она не называла. Они даже не подозревали, что в ее лексиконе есть это слово, потому как обычно она ограничивалась сухими «подите сюда», «ступайте», «не шумите», а чаще всего – «хватит». Она заходила в комнату или появлялась в саду, бросала на них свирепый взгляд и говорила: «Что вы там делаете? А ну прекратите», а потом разворачивалась и уходила. И даже если мать заставала их за очередной проказой (зачинщицей обычно бывала Сильвия), им всегда казалось, что их обидели несправедливо.

В том, что касалось шалостей, особенно под предводительством сорвиголовы Сильвии, они обладали поистине безграничным потенциалом. Три старшие

дочери, почти погодки, были (по общему мнению) «сущим наказанием»; из-за малой разницы в возрасте мать их и не различала, в ее глазах они были лишены индивидуальных черт и фактически слились в одну девочку, поэтому она обращалась к ним наугад – «Джулия-Амелия-Сильвия-или-кто-там» – раздраженным тоном, как будто они сами виноваты в том, что их так много. Оливия, как правило, исключалась из этой нетерпеливой литании, Розмари никогда не смешивала ее с остальными.

Они думали, что Оливия будет последней, кому пришлось спать в маленькой спальне, и что однажды обои с героями стишков наконец отдерут (вернее, их замученная мать отдерет, потому что отец заявил, что нанимать декоратора – только зря деньги тратить) и поклеят какие-нибудь взрослые – с цветами или с пони. Да что угодно будет лучше, чем этот грязно-розовый цвет в комнате Джулии и Амелии, – в палитре он показался им таким многообещающим, но на стенах угнетал. Мать, впрочем, сказала, что у нее нет ни времени, ни денег (ни сил) на новый ремонт.

Однако выяснилось, что Оливии предстоит тот же путь, что и старшим сестрам: она простится с кривовато наклеенными Шалтаями-Болтаями и малютками мисс Бумби, чтобы освободить место для пополнения, о чьем прибытии Розмари сообщила – как отрезала – накануне днем, раздавая на лужайке состряпанный на скорую руку обед: бутерброды с солониной и апельсиновый лимонад.

«Разве это не Оливия была пополнением?» – изрекла Сильвия, не обращаясь ни к кому в отдельности. Розмари бросила на старшую дочь хмурый взгляд, словно впервые ее заметила. Тринадцатилетняя Сильвия, до недавнего времени энергичная девочка (некоторые сказали бы, чересчур энергичная), обещала стать язвительным и циничным подростком. У нескладной очкастой Сильвии, которой недавно поставили на зубы уродливые скобки, были сальные волосы, гикающий смех и длинные худые пальцы (в том числе и на ногах) инопланетного существа. Некоторые по доброте душевной называли ее «гадким утенком» (прямо в лицо, как будто это комплимент, но Сильвии, разумеется, так не казалось), воображая, как, повзрослев, она избавится от скобок, обзаведется контактными линзами и грудью и расцветет в лебедя. Розмари не видела в Сильвии лебедя, особенно когда у той в скобках застревал кусок солонины. Сильвия с некоторых пор ударилась в религию – заявила, что с ней Бог говорил. Розмари думала, может, это нормальный этап для девочки-подростка, может, у одних на уме поп-звезды, у других пони, а у третьих – Бог? В итоге она решила не придавать значения этим беседам с Всевышним. По крайней мере, это

бесплатная прихоть, а вот пони обошелся бы в целое состояние.

И еще эти странные обмороки. Врач сказал, что Сильвия «слишком быстро растет». Розмари сочла объяснение ненаучным, но решила игнорировать и обмороки тоже. Наверняка Сильвия просто хочет привлечь к себе внимание.

Розмари вышла замуж за их отца, Виктора, когда ей было восемнадцать – всего на пять лет больше, чем сейчас Сильвии. Сама мысль о том, что через пять лет Сильвия теоретически сможет выйти замуж, казалась Розмари смехотворной и укрепляла во мнении, что в свое время ее родители должны были помешать ее браку с Виктором, ведь она была еще ребенком, а он – взрослым тридцатишестилетним мужчиной. Она часто ловила себя на том, что ей хочется выговорить матери с отцом за недостаток родительской заботы, но мать умерла от рака желудка вскоре после рождения Амелии, а отец снова женился, перебрался в Ипсвич и коротал дни на ипподроме, а вечера – в пабе.

Если через пять лет Сильвия приведет в дом тридцатишестилетнего любителя свежатинки (особенно если тот объявит себя великим математиком), думала Розмари, она лично вырежет ему сердце кухонным ножом. Эта воображаемая картина так ее потешила, что объявление о пополнении было временно позабыто, и, когда послышался мелодичный перезвон фургона с мороженым, она благосклонно кивнула девочкам.

Трио Сильвия-Амелия-Джулия знало, что ни о каком пополнении речи не идет и что «зародыш», как его упорно называла Сильвия (она увлекалась естественными науками), из-за которого мать стала такой раздражительной и вялой, наверняка очередная отчаянная попытка их отца обзавестись сыном. Он не был из тех отцов, что души не чают в дочерях, и не проявлял к ним особой нежности, только Сильвия иногда удостаивалась его расположения за «способности к математике». Виктор был математиком и жил богатой интеллектуальной жизнью, в которую семья не допускалась. Времени дочерям он почти не уделял – вечно был либо на факультете, либо в своей квартире в колледже, а дома закрывался в кабинете, иногда со студентами, но чаще в одиночестве. Отец никогда не водил их в открытый бассейн в Иисусовом парке, не играл с ними в дурака, не подбрасывал в воздух, никогда не качал на качелях, не брал на реку кататься на лодке, не водил в походы или на экскурсию в Музей Фицуильяма. Его скорее отсутствие, чем присутствие в их жизни – все, чем он был и чем не был, – олицетворялось священным пространством его кабинета.

Они бы очень удивились, узнав о том, что когда-то кабинет был светлой гостиной с окнами в сад, где прежние обитатели неспешно и с удовольствием завтракали, где женщины коротали дни за шитьем и любовными романами и где по вечерам вся семья собиралась сыграть в криббидж или в скребл под радиопостановку. Именно такую жизнь и предвкушала новобрачная Розмари, когда они в 1956 году купили этот дом, заплатив куда больше, чем могли себе позволить. Но Виктор сразу же заявил на комнату свои права, загромоздил ее тяжелыми книжными полками и уродливыми дубовыми шкафами для документов и ухитрился превратить в берлогу, куда не проникал дневной свет и где всегда воняло дешевым табаком. Утрата комнаты была ничем по сравнению с утратой мечты о жизни, которой Розмари намеревалась ее наполнить.

Что именно он там делал, было для них всех тайной. Должно быть, нечто настолько важное, что домашняя жизнь в сравнении была сущим пустяком. Мать говорила им, что он великий математик и занят научным трудом, который однажды его прославит, хотя, когда дверь кабинета изредка бывала открыта и им удавалось мельком увидеть отца за работой, он, казалось, просто сидел за столом, вперив взгляд в пространство.

Во время работы его ничто не должно было беспокоить, и меньше всего – вопящие, визжащие, буйные девочки. Полная неспособность этих самых буйных девочек воздержаться от воплей и визгов (не говоря уже о криках, реве и непостижимом для Виктора вое, напоминавшем волчий) не шла его отношениям с дочерьми на пользу.

Сколько Розмари их ни бранила – всё как с гуся вода, но один вид Виктора, который тяжелой поступью выходил из кабинета, как медведь, разбуженный от спячки, внушал им странный ужас, и, хотя они нарушали все до единого материнские запреты, исследовать кабинет им не приходило в голову. Они допускались в мрачные глубины логова Виктора, только когда им требовалась помощь с математикой. Для Сильвии это еще было терпимо – приложив усилия, она могла разобрать жирные карандашные закорючки, которыми Виктор нетерпеливо покрывал бесконечные листы линованной бумаги, но что до Амелии с Джулией, для них пометки Виктора были как египетские иероглифы. Они старались не думать о кабинете, а если и вспоминали о нем, то как о камере пыток. Виктор винил Розмари в отсутствии у девочек склонности к математике, – очевидно, они унаследовали ее неполноценный женский мозг.

Мать Виктора, Эллен, успела оставить в жизни сына сладкий и благоуханный след своего присутствия. В 1924-м ее отправили в психиатрическую лечебницу; Виктору тогда было только четыре года, и семья решила, что мальчику не стоит бывать в подобном заведении. Он вырос, представляя ее буйной сумасшедшей викторианской эпохи: в длинной белой ночной рубашке, со всклокоченными волосами, она бродила ночами по коридорам лечебницы, несвязно бормоча, – и только много позже он узнал, что его мать не «сошла с ума» (семейное выражение), а родила мертвого ребенка и страдала от тяжелой послеродовой депрессии. Она не буянила и не лепетала бессмыслицу, но проводила все дни в грусти и одиночестве в комнате, украшенной фотографиями Виктора, пока не умерла от туберкулеза, когда Виктору было десять.

К тому времени Освальд, отец Виктора, отправил сына в школу-интернат, и, когда сам Освальд погиб, упав в ледяные воды Южного океана, Виктор весьма спокойно воспринял эту новость и уже через минуту снова корпел над заковыристой математической задачкой.

До войны отец Виктора занимался делом самым темным и бесполезным для англичанина – он был полярным исследователем, и Виктор даже обрадовался, что ему больше не придется равняться на героический образ Освальда Ленда и он сможет стать великим на своем собственном, менее героическом поприще.

Виктор познакомился с Розмари в отделении скорой помощи больницы Адденбрука, где она была сестрой-практиканткой. Он повредил запястье, оступившись на лестнице, но Розмари сказал, что на Ньюмаркет-роуд его «подрезала» машина и он упал с велосипеда. Ему понравилось, как прозвучало это «подрезала», – это было слово из мужского мира (мира его отца), полноценным обитателем которого ему так и не удалось стать, а упоминание Ньюмаркет-роуд позволяло скрыть, что он живет затворником в ограниченном пространстве между колледжем Святого Иоанна и математическим факультетом.

Если бы не это знакомство в больнице, случайное во всех смыслах, у Виктора, возможно, никогда бы и не было девушки. Средний возраст приближался вовсю, а его общение было все так же ограничено шахматным клубом. Виктору никогда по-настоящему никто не был нужен, более того, он находил идею совместной жизни странной. Математика занимала почти все его время, и он был не совсем уверен, для чего ему жена. Женщины казались ему обладательницами

всевозможных нежелательных качеств, главным образом сумасшествия, а также связаны были в его голове с неприятными и чуждыми физиологическими моментами: кровью, сексом, детьми. И все же какая-то часть его жаждала заботы и тепла, которых так не хватало в детстве, поэтому, прежде чем он успел осознать, что происходит, – словно ошибившись дверью – Виктор обнаружил, что пьет чай в коттедже в сельском Норфолке, а Розмари, робко улыбаясь, демонстрирует родителям знаменующее помолвку кольцо (довольно дешевое) с бриллиантовой крошкой.

Если не считать колючих отцовских благословений перед сном, Виктор был первым мужчиной, который поцеловал Розмари (хотя и неуклюже – впившись в нее, как морской слон). Отец Розмари, стрелочник на железной дороге, и ее мать-домохозяйка были ошарашены, когда она привела домой Виктора. Они исполнились благоговения к его несомненному высокому интеллектуальному статусу (очки в черной оправе, потертый спортивный пиджак, рассеянный вид), а возможно, и гениальности (Виктор не стал особенно спорить) и изумлялись, что он выбрал в спутницы жизни их дочь – девушку тихую и легко поддающуюся влиянию, на которую прежде никто не обращал внимания.

Их вовсе не беспокоило, что жених вдвое ее старше, правда, когда счастливая пара отбыла восвояси, отец Розмари, мужчина в полном смысле слова, заметил, что Виктор «в физическом плане так себе». Его супругу же озаботило лишь то, что Виктор, хоть и представился доктором, от болей в животе так ничего и не посоветовал. Зажатый в угол за чайным столиком, покрытым скатертью из мальтийских кружев и уставленным миндальным печеньем, девонширскими булочками и маковыми пирожками, Виктор в конце концов изрек: «Полагаю, это несварение, миссис Вэйн» – ошибочный диагноз, который она приняла с облегчением.

Оливия открыла глаза и принялась довольно рассматривать картинки на обоях. Джек и Джилл безустанно поднимались в горку, Джилл несла деревянную кадушку, которую ей не суждено было наполнить водой; неподалеку на том же склоне крошка Бо-Пип искала своих овечек. Оливия не слишком беспокоилась о судьбе стада, потому что видела симпатичного барашка с голубой ленточкой на шее, спрятавшегося за изгородью. Оливия не совсем понимала, что такое пополнение, но она была бы рада ребенку. Больше всего на свете она любила малышей и животных. У себя в ногах она чувствовала тяжесть Плута, домашнего терьера. Плуту строго-настрого запрещалось спать у девочек, но каждую ночь

кто-нибудь из них тайком заводил его к себе в комнату, хотя к утру он обычно перебирался к Оливии.

Оливия осторожно потрясла Голубого Мышонка: пора просыпаться. Голубой Мышонок, мягкая, длиннолапая зверюшка из махровой ткани, была оракулом для Оливии, и она советовалась с ним по любому поводу.

Яркая полоска солнечного света медленно ползла по стене, и, когда она достигла прячущегося за изгородью барашка, Оливия вылезла из постели и послушно сунула ножки в маленькие розовые тапочки с кроличьими мордочками и ушками – предмет отчаянной зависти Джулии. Остальные не давали себе труда носить тапочки, а теперь стало так жарко, что Розмари не могла заставить их надеть даже туфли. Но Оливия была послушным ребенком.

В этот самый момент Розмари, лежа в постели, проснувшись, но не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, словно костный мозг в них превратился в свинец, размышляла, как бы оградить Оливию от дурного влияния троицы. Ей нездоровилось в связи с ее положением, и она думала, вот было бы чудесно, если бы Виктор вдруг перестал храпеть, проснулся и спросил: «Тебе что-нибудь принести, дорогая?» А она бы сказала: «Да, пожалуйста, чаю без молока и тост с маслом, спасибо, Виктор». И рак бы на горе засвистел.

Ох уж эта плодовитость. От противозачаточных таблеток у нее поднималось давление, спираль не держалась, а презервативы Виктор считал оскорблением мужского достоинства. Она была для него просто племенной кобылой. Если в беременности и было что-то хорошее, так это перерыв в сексе. Она говорила ему, что это плохо для ребенка, и он верил ей, потому что ничего не знал ни о беременности, ни о женщинах, ни о детях, ни вообще о жизни. Она вышла замуж девственницей и вернулась из недельного свадебного путешествия в состоянии шока. Конечно, ей нужно было сразу же уйти от него, не оглядываясь, но Виктор уже начал высасывать из нее силы. Иногда ей казалось, что он питается ее энергией.

Если бы у нее были силы, она встала бы, уползла в свободную гостевую спальню и легла на жесткую односпальную кровать с накрахмаленной белоснежной простыней, туго подвернутой под матрас. Комната для гостей была в доме как воздушный карман с нетронутой атмосферой и неистоптанным ковром. Сколько бы детей у нее ни было, даже если бы она рожала каждый год, как корова (при таком раскладе она покончила бы с собой), никому из них никогда не занять

первозданное пространство этой комнаты – чистой, нетронутой, принадлежащей ей одной.

А еще лучше – на чердак. Можно было бы настелить там пол, выкрасить стены белым и сделать дверь-люк, и она забралась бы туда, подняла дверь, будто разводной мост, и никто бы ее не нашел. Розмари представила, как семейство бродит из комнаты в комнату и зовет ее, и рассмеялась. Виктор заворчал во сне. Но потом она подумала об Оливии, как та блуждает по дому и не может ее отыскать, и страх ударил под дых. Придется взять Оливию с собой на чердак.

Сам Виктор пребывал в блаженном состоянии между бодрствованием и сном, не оскверненном горечью повседневной жизни – жизни в доме, полном женщин, которые были для него чужими.

Оливия, уютно пристроив большой палец во рту и прижав к себе Голубого Мышонка, прошлепала по коридору в спальню Джулии и Амелии и вскарабкалась на постель к Джулии. Той снился какой-то бешеный сон. Всклокоченные, мокрые от пота волосы прилипли к голове, а губы непрерывно бормотали, – видно, она сражалась с неведомым чудищем. Джулия всегда спала очень крепко: она разговаривала и ходила во сне, боролась с простынями, а просыпалась резко, уставившись вытаращенными глазами на уже исчезнувших призраков. Иногда драмы во сне достигали такого накала, что она просыпалась в смертельном ужасе с приступом астмы. Амелия и Сильвия считали Джулию жуткой занозой. Настроение у нее менялось молниеносно: она могла молотить кулаками и пинаться, а уже через минуту мурлыкать и лезть с поцелуями. Когда Джулия была помладше, с ней случались самые безобразные припадки, и даже теперь она чуть ли не каждый день закатывала истерику по тому или иному поводу и пулей вылетала из комнаты. Обычно Оливия выходила вслед за ней и пыталась успокоить сестру – остальным не было дела. Оливия, похоже, понимала, что Джулии всего-навсего нужно внимание (а точнее, ужасно много внимания).

Оливия потянула Джулию за рукав ночной рубашки, но Джулия просыпалась далеко не сразу. Амелия на соседней кровати уже не спала, но и глаза не открывала, ловя последние капельки сна. Кроме того, она знала, что, если притворится спящей, Оливия заберется к ней в постель, обхватит ее за руку или за ногу, как обезьянка, прижмется своим сухим и горячим загорелым тельцем, а

Голубой Мышонок сплющится между ними, как губка.

До рождения Оливии Амелия делила комнату с Сильвией, что, несмотря на все недостатки, было определенно лучше, чем иметь в соседках Джулию. Между разнополярными Сильвией и Джулией Амелия чувствовала себя потерянной, бесцветной и лишенной индивидуальности. Ей казалось, что она, вне зависимости от числа пополнений, всегда будет затеряна где-то посредине. Амелия была более вдумчивой и педантичной, чем Сильвия. В Сильвии же восторженность брала верх над рассудительностью (вот почему, по словам Виктора, из нее не получился бы великий математик). У Сильвии, конечно, были не все дома. Она как-то сказала Амелии, что беседовала с Богом (ну и заодно с Жанной д’Арк). Если бы Богу и вздумалось с кем-нибудь поговорить, едва ли Он выбрал бы Сильвию.

Сильвия обожала секреты, и, даже если секретов у нее не было, она делала все, чтобы убедить других в обратном. У Амелии не было секретов, Амелия ничего не знала. Поэтому она решила, что когда вырастет, то будет знать все и держать это все в секрете.

Означало ли пополнение, что мать, повинуясь очередному капризу, снова устроит перестановку? С кем тогда будет жить Оливия? Когда-то они дрались из-за того, с кем будет спать собака, теперь боролись за ласки Оливии. Всего в доме было пять спален, но одна всегда оставалась гостевой, хотя никто из девочек не мог припомнить, чтобы у них когда-нибудь ночевали гости. Теперь мать начала поговаривать о том, чтобы обустроить чердак. Амелии нравилась эта идея – комната наверху, подальше от всех. Она представляла винтовую лестницу и стены, выкрашенные в белый цвет, а еще белый диван, белый ковер и прозрачные белые шторы. Она решила, что, когда вырастет и выйдет замуж, у нее будет один-единственный ребенок, само совершенство (точь-в-точь как Оливия), а жить они будут в белом доме. Когда она пыталась представить живущего вместе с ней в этом белом доме мужа, возникал лишь смутный образ, тень мужчины, который, встречаясь с ней на лестнице и в коридорах, бормотал вежливые приветствия.

К тому времени как Оливия разбудила их всех, было уже почти половина восьмого. Завтрак они готовили себе сами, за исключением Оливии, которую усаживали на подушку и кормили: Амелия – хлопьями с молоком, а Джулия – нарезанным тостом. Оливия принадлежала им, она стала их любимой игрушкой, потому что мать была измотана пополнением, а отец был великим математиком.

Джулия, уплетая за обе щеки (Розмари утверждала, что в животе у дочери сидит лабрадор), ухитрилась порезаться ножом для хлеба, но Сильвия зажала ей рот рукой, как хирургической маской, и предотвратила вопли, которые наверняка разбудили бы родителей. Без пореза или ссадины у них дня не проходило. По словам матери, они были не дети, а тридцать три несчастья. Она постоянно возила их в больницу в Адденбрук: Амелия докувыркалась до сломанной руки; Сильвия ошпарила ногу, наполняя грелку; Джулия рассекла губу, прыгнув с крыши гаража; снова Джулия – прошла через стеклянную дверь на глазах у изумленно вылупившихся Амелии с Сильвией (как она могла не увидеть дверь?); и конечно же, эти странные обмороки Сильвии, которая переходила из вертикального положения в горизонтальное без всякого предупреждения, – кровь отливала от лица, губы пересыхали, а о том, что она жива, свидетельствовало лишь подрагивание век.

Только Оливия не была подвержена этой всеобщей неуклюжести: за свои три года она не нажила ничего серьезнее пары синяков. Что же касалось остальных, то мать говорила, что, проводя столько времени в больнице, она с таким же успехом могла бы доучиться на медсестру.

Главная кутерьма, конечно, была, когда Джулия отрезала себе палец (ее прямо-таки тянуло к острым предметам). Джулия, которой тогда было пять лет, незаметно для матери забрела на кухню; когда Розмари прекратила яростно шинковать морковь и обернулась, пальца уже не было, а застывшая Джулия в немом удивлении держала руку на весу, показывая рану, будто святой ребенок-мученик. Розмари обмотала окровавленную руку кухонным полотенцем, сгребла дочь в охапку и побежала к соседке, а та под визг пережатых тормозов отвезла их в больницу. Сильвия с Амелией остались разбираться с крошечным бледным пальчиком, позабытым на кухонном линолеуме.

(Находчивая Сильвия бросила палец в пакет замороженного горошка, и они с Амелией поехали в больницу на автобусе; Сильвия всю дорогу сидела, вцепившись в тающий горошек, словно от него зависела жизнь сестры.)

Сперва они хотели прогуляться вдоль реки до Грантчестера. С самого начала каникул они отправлялись в эту экспедицию по меньшей мере дважды в неделю; Оливию, когда та уставала, несли на закорках. Приключение занимало почти целый день, ведь по пути было столько всего интересного – и на берегу, и в

поле, и даже в чужих садах. Единственным наказом Розмари было «не лезьте в реку», но они неизменно прятали купальники под платьями или шортами и всякий раз сбрасывали одежду и плюхались в воду. Спасибо пополнению, ослабившему бдительность такой строгой обычно матери. Никто из знакомых детей в то лето не вкусил столько опасностей.

Пару раз Розмари давала им денег, чтобы они перекусили в чайной «Фруктовый сад» (где они были не самыми желанными посетителями), но чаще они брали наскоро собранный обед из дому и управлялись с ним, еще не успев дойти до Ньюнхема. Но не сегодня – сегодня солнце подобралось к Кембриджу еще ближе и заперло их в саду, как в ловушке. Они старались как-то развлечь себя, нехотя играли в прятки, но хорошо спрятаться никому не удавалось. Даже Сильвия не придумала ничего лучше, чем забиться в гнездо из высохшей травы за кустами смородины в дальнем конце сада, – это Сильвия-то, которая однажды пряталась рекордные три часа (растянувшись, как ленивец, на высокой гладкой ветке бука в саду миссис Рейн, соседки напротив). Ее нашли, только когда она уснула и свалилась с дерева, сломав при этом руку. У матери была капитальная перебранка с миссис Рейн – та требовала, чтобы Сильвию арестовали за нарушение границ частных владений (идиотка). Они вечно залезали в соседский сад, таскали зеленые яблоки и дразнили миссис Рейн, потому что она была ведьмой и заслуживала дурного обращения.

Без энтузиазма пообедав салатом из тунца, они принялись играть в английскую лапту, но Амелия споткнулась, и у нее пошла кровь из носа, а потом Сильвия с Джулией затеяли ссору, и Сильвия дала Джулии пощечину. Тогда они решили делать венки из ромашек, чтобы потом вплести их в волосы Оливии и надеть Плуту в качестве ошейника. Но вскоре даже это занятие показалось им чересчур утомительным, и Джулия отползла в тень под кусты гортензии и уснула в обнимку с собакой, а Сильвия решила почитать Оливии и Голубому Мышонку в палатке. Палатку, древнюю как мир, оставленную в сарае прежними хозяевами дома, разбили на лужайке, как только установилась хорошая погода, и они вечно соперничали за место под заплесневевшим брезентом, хотя внутри было еще жарче, чем в саду. Через несколько минут Сильвия с Оливией уснули, позабыв про книгу.

Разомлевшая от жары Амелия лежала на выгоревшей траве и опаленной земле, вперившись в бесконечную безоблачную синеву, пронизанную гигантскими стеблями дикорастущего алтея. Она смотрела, как беззаботно ныряют в небе ласточки, и слушала умиротворяющее жужжание насекомых. По ее веснушчатой

руке проползла божья коровка. Над головой лениво плыл аэростат, и она жалела, что не в силах разбудить Сильвию и сообщить ей об этом.

Кровь едва текла по венам Розмари. Она выпила на кухне стакан воды из-под крана и посмотрела в окно. По небу, точно птица, попавшая в восходящий поток, плыл аэростат. Все ее дети, похоже, спали. Это непривычное спокойствие вызвало у Розмари неожиданный приступ любви к ребенку у нее в чреве. Если бы они все постоянно спали, она бы не возражала быть им матерью. За исключением Оливии: ей бы не хотелось, чтобы Оливия все время спала.

Когда четырнадцать лет назад Виктор сделал ей предложение, она не имела никакого представления о том, что значит быть женой университетского преподавателя, но воображала, что придется носить то, что ее мать называла «дневными платьями», ходить на садовые вечеринки в Бэкс[1 - Бэкс – парковая зона в Кембридже между колледжами и рекой Кем. – Здесь и далее примеч. перев.] и элегантно прогуливаться по роскошной зелени газонов под шепот окружающих: «Это жена знаменитого Виктора Ленда, говорят, без нее он ничего не достиг бы».

Но разумеется, жизнь супруги кембриджского преподавателя с этими благостными картинами не имела ничего общего. Никаких тебе фуршетов в Бэксе, и уж точно никаких элегантных прогулок по лужайкам колледжей, где к траве относятся с религиозным благоговением. Вскоре после свадьбы Виктор взял ее с собой на вечеринку в саду главы колледжа, где быстро выяснилось, что, по мнению коллег, он совершил ужасный мезальянс («Медсестра», – прошептал кто-то таким тоном, будто медсестра – практически все равно что проститутка). Без нее бы Виктор ничего не достиг, это правда. Но он не достиг ничего и с ней. В этот самый момент он корпел в прохладной темноте своего кабинета, отгородившись от лета тяжелыми шторами из шенили, погруженный в свой труд – труд, который так и не принес плодов, не изменил мир и не сделал его знаменитым. На своем поприще он был не великим первооткрывателем, а всего лишь сносным ремесленником. Это приносило ей некоторое удовлетворение.

Она теперь знала – от одного из коллег Виктора, – что великие математические открытия совершают до тридцати лет. Самой Розмари было только тридцать два, и она не могла поверить, как мало это на слух и как много по ощущению.

Она предполагала, что Виктор женился на ней, потому что считал хорошей хозяйкой, – возможно, его ввели в заблуждение чайные застолья ее матери, сама-то Розмари, пока жила с родителями, к плите и не подходила, – а поскольку она медсестра, то он наверняка решил, что она заботлива и внимательна, – в то время и сама она, вероятно, так думала, но теперь чувствовала, что ее заботы не хватит даже на котенка, не говоря уже о четырех, а скоро и пяти детях и особенно о великом математике.

К тому же она подозревала, что его великий труд – фальшивка. Она видела бумаги, когда вытирала пыль в его норе, – выкладки Виктора не многим отличались от отцовских кропотливых расчетов выигрыша на тотализаторе. Виктор не был похож на игрока. Ее отец был игроком, и мать отчаялась с ним бороться. Когда Розмари была маленькой, он однажды взял ее с собой на ипподром в Ньюмаркете. Они стояли у финишного столба, и отец посадил ее на плечи. Как же она перепугалась, когда лошади с диким топотом пронеслись мимо и толпа на трибунах взревела, будто это наступил конец света, а не аутсайдер, на которого ставили тридцать к одному, на голову обошел лидера на финишной прямой. Розмари не могла представить Виктора в таком оживленном месте, как ипподром, и уж тем более в прокуренной букмекерской конторе среди простого люда.

Из-под куста гортензии выползла Джулия, от жары явно не в духе. Как Розмари снова превратить их в английских школьниц, когда начнется учебный год? За лето они стали настоящими цыганятами – дочерна загорелые, все в синяках и царапинах, со спутанными, выжженными солнцем гривами и, сколько бы раз они ни принимали ванну, вечно казались грязными. У входа в палатку возникла сонная Оливия – личико чумазое, выгоревшие волосы заплетены в неровные косички, из которых торчат увядшие цветы. Она шептала на ухо Голубому Мышонку какой-то секрет. У Розмари ёкнуло сердце. Из всех ее дочерей лишь Оливия отличалась красотой. Джулия, с темными кудрями и вздернутым носиком, конечно, миловидна, но характер все портит, Сильвия… бедняжка Сильвия, ну что тут скажешь? Амелия какая-то… бесцветная. Но Оливия – Оливия соткана из света. Невероятно, что она дочь Виктора, но, увы, сомневаться в этом не приходилось. Оливия была единственной, кого она любила, хотя, Бог свидетель, с остальными она тоже старалась изо всех сил. Все ради долга, ничего по любви. В конце концов долг сводит тебя в могилу.

До чего несправедливо – как будто вся любовь, предназначавшаяся остальным, досталась Оливии. Розмари любила свою младшую дочь с какой-то неистовой

яростью. Иногда ей хотелось съесть Оливию, впиться зубами в нежную ручку или ножку и даже проглотить целиком, как питон, спрятать у себя внутри, в безопасности. Без сомнения, она ужасная мать, но у нее не хватало сил даже на чувство вины. Оливия увидела ее и помахала ручкой.

Вечером ни у кого из них не было аппетита, и они ковырялись в совсем не летнем рагу из баранины, на которое у Розмари ушло уйма времени. Появился Виктор, моргая от света, как пещерный житель, съел все, что перед ним поставили, и попросил добавки. И Розмари подумала: интересно, как он будет выглядеть на смертном одре? Она смотрела, как он ест, как вилка двигается ко рту и обратно в механическом ритме, смотрела на его огромные, точно лопасти, руки, поглотившие столовые приборы. У него были руки фермера – это бросилось ей в глаза при первой встрече. У математика руки должны быть тонкие и изящные. Как же она сразу не догадалась, увидев эти руки. Ее подташнивало, и сводило живот. Может, она потеряет ребенка. Какое было бы облегчение.

Розмари резко встала из-за стола и объявила, что пора спать. Обычно это вызвало бы множественные протесты, но сегодня Джулия что-то тяжело дышала и глаза у нее покраснели от солнца и травы – летом у нее бывала аллергия на все на свете, а Сильвия, похоже, перегрелась: ее тошнило, она куксилась и жаловалась, что болит голова, впрочем это не помешало ей закатить истерику, когда Розмари отправила ее спать пораньше.

Тем летом три старшие девочки почти каждый вечер просились спать в палатке, и каждый вечер Розмари им отказывала на том основании, что они и без того похожи на цыган, и не важно, что цыгане, как заметила Сильвия, на самом деле живут в фургонах. Розмари изо всех сил пыталась сохранить в семье заведенный порядок, несмотря ни на что и без всякой помощи мужа, для которого готовка, работа по дому и забота о детях ничего не значили и который женился на ней только затем, чтобы кто-то его обихаживал, и, когда Амелия спросила: «Мамочка, тебе плохо?» – ей стало еще хуже, потому что Амелии внимания доставалось меньше всех. Вот почему Розмари вздохнула, приняла две таблетки парацетамола и одну снотворного – коктейль, скорее всего смертельный для ребенка у нее в животе, – и сказала своей самой заброшенной дочери: «Если хочешь, можете сегодня спать с Оливией в палатке».

Проснуться и вдохнуть запах росистой травы и брезента было здорово – куда лучше, чем нюхать дыхание Джулии, утром отдававшее кислятиной. Ни на что не похожий, собственный запах Оливии был едва уловим. Амелия не открывала глаз, хотя чувствовала, что солнце уже высоко, и ждала, пока Оливия проснется и заберется под старое пуховое одеяло, служившее им спальным мешком, но подняла ее не Оливия, а Плут, принявшийся лизать ей лицо.

Оливии нигде не было видно, остался только пустой домик из одеял – будто ее вытащили оттуда, как улитку. Амелия расстроилась, что Оливия встала, не разбудив ее. Она прошла босиком по сырой траве вместе с Плутом, который трусил следом, и толкнула заднюю дверь, которая оказалась заперта, – мать, естественно, и не подумала дать Амелии ключ. Что за родители оставляют детей на улице и запирают дверь?

Было тихо и еще очень рано, но Амелия не имела понятия, который час. Она подумала, что Оливия как-то пробралась в дом, раз ее нет в саду. Она позвала ее и испугалась дрожи в собственном голосе – она и не предполагала, что волнуется. Амелия долго стучала в заднюю дверь, но тщетно, и тогда она побежала по тропинке вдоль дома. Маленькая калитка была открыта, и Амелия встревожилась не на шутку. Она вышла на улицу и крикнула погромче: «Оливия!» Почувствовав, что происходит что-то интересное, залаял Плут.

На улице не было ни души, если не считать мужчины, который садился в машину. Он с любопытством посмотрел на Амелию. Очевидно, босиком и в старой пижаме Сильвии, она выглядела нелепо, но ей было наплевать. Она подбежала к парадной двери и держала палец на кнопке звонка, пока отец – ну надо же – не открыл ей. Он явно только что проснулся: мятая физиономия, мятая пижама, волосы в разные стороны, как у сумасшедшего профессора. Он в ярости уставился на нее, точно впервые видел. Когда же он ее наконец признал, то пришел в еще большее замешательство.

– Оливия, – сказала она, на этот раз шепотом.

После обеда плоское небо над Кембриджем разрезала молния, возвестившая конец жары. К этому времени палатка в саду за домом успела стать центром круга, который с каждым часом расширялся, втягивая в себя все больше людей – начиная с самих Лендов, бродивших по улицам, залезавших во все кусты и

живые изгороди, до хрипоты выкрикивая имя Оливии. К поискам уже подключилась полиция, и соседи проверяли свои сады, сараи и чердаки. Круг продолжал расширяться, включив полицейских-ныряльщиков, ведущих поиски в реке, и посторонних людей, вызвавшихся прочесать луг и местное болото. Полицейские вертолеты кружили над отдаленными деревушками и полями по всему графству, водителям грузовиков велели следить за шоссе, военные прочесывали болота, но никто – от Амелии, до тошноты изошедшей криком в саду за домом, до рядовых территориальной армии, под проливным дождем ползавших на коленях по парку Мидсаммер-Коммон, – не смог найти ни следа Оливии, ни волоска, ни чешуйки кожи, ни розовой тапочки с кроликом, ни голубого мышонка.

2

Дело № 2, 1994 г. Самый обычный день

Тео старался больше ходить пешком. Теперь он официально страдал «крайней степенью ожирения», как заявила его новая бесчувственная докторша. Тео знал, что новая бесчувственная докторша – молодая женщина с очень короткой стрижкой и сумкой для спортзала, небрежно брошенной в углу кабинета, – использовала это выражение, чтобы его напугать. Раньше Тео вовсе не считал, что у него «крайняя степень ожирения». Он думал о себе как о бодром толстяке, круглом Санта-Клаусе, и оставил бы советы врача без внимания – но, когда он пришел домой и рассказал обо всем своей дочери Лоре, та пришла в ужас и немедленно разработала для него план упражнений и диеты. Вот почему теперь он ел на завтрак солому с обезжиренным молоком и каждое утро проходил пешком две мили до своей конторы в Парксайде.

Жена Тео, Валери, умерла в абсурдные тридцать четыре года, так давно, что порой ему трудно было представить, что когда-то он был женат. Валери положили в больницу с простым аппендицитом, но после операции у нее образовался тромб в мозгу. Теперь, оглядываясь назад, он понимал, что, наверное, следовало подать на больницу или органы здравоохранения в суд за халатность, но тогда он был настолько поглощен заботой о двух дочерях – семилетней Дженнифер и двухлетней малышке Лоре, что ему некогда было даже оплакивать свою бедную жену, какое уж тут возмездие. Если бы обе

девочки не становились с каждым годом все больше похожими на нее, у Тео сохранилось бы о жене лишь смутное воспоминание.

Беззаботная студентка, за которой Тео когда-то так внимательно ухаживал, серьезно отнеслась к обязанностям жены и матери. Тео часто размышлял, правда ли, что те, кому суждено умереть молодыми, предчувствуют краткость отпущенного им времени, отчего их жизнь обретает особое напряжение, истовость, словно печать важности. Они с женой питали друг к другу скорее нежность, чем страсть, и неизвестно, сколько бы продержался их брак, если бы Валери была жива.

Дженнифер с Лорой никогда не доставляли особых хлопот, с ними Тео легко было быть хорошим отцом. Теперь Дженнифер училась на врача в Лондоне. Трезвомыслящая, целеустремленная девушка, она не тратила времени на ерунду и развлечения, но это не значит, что она была лишена сострадания, и Тео не мог представить, как однажды она будет сидеть у себя в кабинете и говорить какому-нибудь толстяку, которого видит впервые в жизни, что у него «крайняя степень ожирения» и ему нужно почаще отрывать задницу от дивана. Новая докторша, конечно, не совсем так выразилась, но вполне могла бы.

Как и сестра, Лора была организованной и способной, из тех, кто достигает намеченной цели без лишней суеты, но, в отличие от сестры, в ней была какая-то беззаботность. Это не значит, что она не добивалась успехов, – у нее был полный набор сертификатов по нырянию с аквалангом, и к двадцати годам она собиралась получить высшую квалификацию. На следующий месяц у нее был запланирован тест по вождению, и она намеревалась на отлично сдать все экзамены. Ее ждало место на факультете морской биологии в Абердинском университете.

Лора нашла работу на лето в пабе на Кинг-стрит, и Тео волновался, что, когда она будет возвращаться ночью домой, какой-нибудь маньяк в парке «Христовы земли» собьет ее с велосипеда и сотворит с ней что-нибудь ужасное. Он испытал огромное облегчение, когда она решила ехать в университет сразу в октябре, а не бродить с рюкзаком на плечах по Таиланду или Южной Америке, как все ее друзья. Мир полон опасностей. «За Дженни ты так не волнуешься», – говорила Лора, и это была правда, он не волновался за Дженнифер и притворялся (и перед собой, и перед Лорой), что это потому, что она живет отдельно, в Лондоне, но на самом деле он просто не любил ее так, как любил Лору.

Он волновался всякий раз, когда Лора выходила из дому, всякий раз, когда она запрыгивала на велосипед, или надевала гидрокостюм, или садилась в поезд. Когда она куда-то шла в сильный ветер, он боялся, что ей на голову упадет обломок крыши, он боялся, что в университете она снимет квартиру с неисправным водонагревателем и отравится угарным газом. Он переживал, что она давно не обновляла прививку от столбняка, что она зайдет куда-нибудь, где через кондиционеры прокачивают болезнь легионеров, что она ляжет в больницу на простую операцию и никогда оттуда не выйдет, что ее укусит пчела и она умрет от анафилактического шока (ее никогда не кусали пчелы, так откуда же ему знать, что у нее нет на них аллергии?). Конечно же, Лоре он никогда о своих страхах не говорил: она подняла бы его на смех. Стоило ему выказать хоть намек на тревогу («Осторожнее на левом повороте, обзор плохой» или «Выключи свет, прежде чем менять лампочку»), Лора принималась над ним смеяться и говорила, что он стал как старуха, которая не может поменять лампочку, не представив цепочки ужасных последствий. Но Тео знал, что путь, начавшийся с недокрученной гайки, заканчивается сорванной дверью грузового отсека высоко в воздухе. «Почему ты всегда волнуешься, пап?» – неизменно спрашивала Лора. «А почему нет?» – был невысказанный ответ Тео. И после очередного из ставших постоянными ночных бдений в ожидании, когда дочь вернется домой с работы из паба (хотя он всегда притворялся, что спит), Тео как бы между прочим заметил, что им в конторе нужна временная секретарша, так почему бы ей не выручить отца, и, к его изумлению, она подумала всего минуту и сказала: «Ладно» – и улыбнулась своей очаровательной улыбкой (результат часов кропотливой и дорогой работы ортодонта), и Тео подумал: «Спасибо тебе, Господи», потому что, хоть Тео и не верил в Бога, он часто с Ним разговаривал.

Но в ее первый день работы в «Холройд, Уайр и Стэнтон» (Уайром был Тео) ему нужно было отлучиться из конторы, что, понятное дело, огорчало его намного больше, чем Лору. Он отправлялся в суд в Питерборо по нудному разбирательству о границах земельного надела, которым должен был бы заниматься местный адвокат, но дело затеял старый клиент Тео, только недавно перебравшийся из Кембриджа. На Лоре была черная юбка и белая блузка, и она забрала свои каштановые волосы в хвост на затылке. Такой у нее деловой вид, подумал он, но до чего же хорошенькая.

«Пап, обещай, что пойдешь до станции пешком?» – строго сказала Лора, когда Тео встал из-за стола, и он ответил: «Ну раз так надо…» – но он знал, что если пойдет пешком, то не успеет на поезд, и подумал, что может притвориться, а потом взять такси. Он покончил со своими низкокалорийными хлопьями с высоким содержанием клетчатки, напоминавшими коровий корм, и осушил

чашку черного кофе, мечтая о сливках и сахаре и слоеной булочке, такой, с абрикосом и заварным кремом, похожей на яйцо-пашот, и подумал, что, может быть, слойка найдется в буфете на станции. «Папа, не забудь ингалятор», – напомнила Лора, и Тео похлопал себя по карману пиджака в доказательство того, что ингалятор при нем. Сама мысль о том, чтобы оказаться без вентолина под рукой, приводила Тео в состояние паники, хотя с чего бы? Случись у него приступ астмы на любой английской улице, у половины прохожих наверняка окажется ингалятор.

«Шерил тебе все объяснит, – сказал он дочери; Шерил была его секретаршей. – Я вернусь в контору к обеду, может, перекусим вместе?» И она ответила: «Договорились, пап». А потом проводила его до двери, поцеловала в щеку и сказала: «Я люблю тебя, папа». И он ответил: «Я тоже тебя люблю, милая». Дойдя до угла, он обернулся: она махала ему рукой.

Лора, у которой были карие глаза и светлая кожа, которая любила диетическую пепси и чипсы с солью и уксусом, которая была умна как черт, которая утром по воскресеньям готовила ему омлет, Лора, которая все еще была девственницей (он знал, потому что она сама ему сказала; он, конечно, смутился, но зато испытал огромное облегчение, хотя и понимал, что она не останется девственницей навечно), Лора, у которой в спальне стоял аквариум с тропическими рыбками, Лора, чей любимый цвет был голубой, а цветок – подснежник и которая любила «Радиохед» и «Нирвану», терпеть не могла мистера Пузыря и десять раз смотрела «Грязные танцы»[2 - «Грязные танцы» (1987) – фильм американского режиссера Эмиля Ардолино с Патриком Суэйзи в главной роли. Мистер Пузырь – персонаж развлекательного телешоу на канале Би-би-си «Вечеринка у Ноэля» (1991–1999), розовое существо с жуткой ухмылкой.]. Лора, которую Тео любил с сокрушительной силой урагана.

Тео с Дэвидом Холройдом создали партнерство вскоре после женитьбы Тео на Валери. Через пару лет к ним присоединилась Джин Стэнтон. Они втроем дружили со студенческой скамьи и мечтали о «прогрессивной, социально ответственной» адвокатской практике, не пренебрегающей бытовыми и семейными делами и юридической помощью неимущим. С годами их благие намерения поутихли. Джин Стэнтон осознала, что ей больше нравится заниматься гражданскими исками, чем делами о домашнем насилии, а ее политические симпатии от левых центристов переместились к Консерваторам с большой «К», а Дэвид Холройд вспомнил, что он, как-никак, восточноанглийский

юрист в пятом поколении и имущественное право у него в крови, поэтому «заниматься этическими разборками», по словам того же Дэвида Холройда, обычно выпадало Тео. Практика разрослась: теперь она включала трех младших партнеров и двух помощников, и контора в Парксайде трещала по швам, но о переезде никто не хотел и думать.

Их здание изначально было жилым домом: всего пять этажей, от сырого кухонного погреба до холодного чердака с комнатами для прислуги, – помещения налеплены довольно беспорядочно, но в общем достойное обиталище для обеспеченной семьи. После войны его разбили на конторы и отдельные квартиры, и теперь от былой внутренней отделки остались лишь призрачные следы: лепнина в виде цветочно-фруктовых гирлянд с вазами над столом, за которым работала Шерил, и ионический фриз под карнизом в холле.

Овальная гостиная, оформленная в строгом неоклассическом стиле, с окнами на Паркерс-Пис[3 - Паркерс-Пис – большой (около 100 тыс. кв. м) газон в центре Кембриджа, место для пикников, велосипедных прогулок и спортивных игр.], служила Холройду, Уайру и Стэнтон переговорной, и зимой за решеткой мраморного камина всегда горел настоящий огонь, на угле, потому что Дэвид Холройд был человек старой закалки. Тео не раз сидел в этой комнате за бокалом вина с партнерами и помощниками, которые, все как один, были исполнены провинциального радушия состоявшихся профессионалов. И конечно же, Лора с Дженнифер постоянно наведывались к нему в офис, с тех пор как были совсем малютками, но он не мог свыкнуться с мыслью, что сегодня она будет там раскладывать бумаги по папкам, исполнять поручения, – и он знал, какой она будет вежливой и старательной, и заранее гордился тем, что все в офисе скажут: «Лора – такая милая девочка, правда?» – так все о ней говорили.

На путях были овцы. Кондуктор не уточнил, целое стадо или просто пара-тройка заблудших. В любом случае достаточно, чтобы все пассажиры поезда на Кембридж ощутили удар и сильный толчок. Когда кондуктор прошел по всем четырем вагонам и сообщил про овец, развеяв предположения о коровах, лошадях и двуногих самоубийцах, поезд стоял уже десять минут. Прошло еще полчаса, но они не двигались с места, поэтому Тео решил, что, пожалуй, все-таки стадо, а не одна овца. Ему хотелось поскорее вернуться в Кембридж и сводить Лору на обед. Он спросил у кондуктора, сколько они еще будут стоять, и тот ответил: «Бог его знает». Тео подумал, что если уж кто и знает, то, скорее, черт.

В вагоне было душно, и кто-то, вероятно кондуктор, открыл двери, и пассажиры начали выбираться наружу. Наверняка это противоречит железнодорожным правилам, подумал Тео, но вдоль состава шла узкая обочина с насыпью, так что никакой опасности не было, да и другой поезд никак не мог врезаться в них, как они – в овец. Тео осторожно и не без труда слез с подножки, радуясь своей смелости. Ему было любопытно посмотреть, во что превратились овцы после столь близкого знакомства с поездом. Шагая вдоль путей, он скоро нашел ответ на свой вопрос: повсюду были разбросаны останки овец, куски мяса с шерстью, словно бедных тварей растерзала стая волков. Тео поразился, что его желудок устоял перед этим кровавым месивом, но, в конце концов, он всегда считал адвокатов, с их способностью быть выше хаоса и трагедий повседневной жизни и сохранять беспристрастность, сродни полицейским и медсестрам. Тео испытал странное чувство триумфа: он был в поезде, который едва не сошел с рельсов, но остался цел и невредим. По непреложному закону вероятности, его шансы (а значит, и его близких) стать жертвой другого железнодорожного происшествия ощутимо уменьшились.

Машинист с потерянным видом стоял у локомотива, и, когда Тео спросил, в порядке ли он, тот произнес, как будто отвечая на вопрос: «Я увидел только первую и подумал, что, может, не стоит из-за нее тормозить, а потом… – Он попытался жестом изобразить разлетающееся на куски стадо. – А потом все вокруг стало белое».

Тео был настолько потрясен этим воображаемым зрелищем, что не мог выкинуть его из головы до конца поездки, возобновившейся, когда их пересадили на другой поезд. Он представлял, как будет описывать случившееся Лоре, представлял, как она отреагирует – сперва ужаснется, а потом отпустит мрачную шуточку. На вокзале он взял такси, но с полдороги отпустил его и пошел пешком. Так он опоздает еще больше, зато Лора будет довольна.

Перед покорением крутой лестницы на второй этаж, где располагалась контора «Холройд, Уайр и Стэнтон», Тео с минуту постоял на тротуаре. Врач была права, и Лора тоже: нужно сбросить вес. Парадная дверь была приоткрыта, кто-то выставил чугунную подпорку. Всякий раз, заходя в здание, Тео восхищался дверью в свою контору. Она была выкрашена в блестящий темно-зеленый цвет, и вся изящная латунная фурнитура – почтовый ящик, замочная скважина, молоток с головой льва – сохранилась с незапамятных времен. Латунная

табличка, которую офисная уборщица натирала каждое утро, гласила: «Холройд, Уайр и Стэнтон. Юрисконсульты и адвокаты». Тео сделал глубокий вдох и начал взбираться по лестнице.

Внутренняя дверь, что вела в приемную, тоже – странно – была открыта, и, шагнув через порог, Тео понял, что случилось что-то ужасное. Секретарша Джин Стэнтон скорчилась на полу, на ее одежде была рвота. Администратор Мойра с истерическим терпением диктовала в телефон адрес конторы, волосы и лицо у нее были в крови. Тео подумал, что она ранена, но, когда он подошел помочь, она замахала на него свободной рукой, и он решил было, что она его прогоняет, но тут понял: Мойра указывает на переговорную.

Потом Тео будет снова и снова складывать по кусочкам события, предшествовавшие этому моменту.

Лора как раз закончила ксерокопировать кадастровый паспорт, когда в приемную вошел мужчина, настолько неприметный, что впоследствии никто из сотрудников «Холройд, Уайр и Стэнтон» не смог даже примерно описать его внешность. Единственное, что им удалось вспомнить: на нем был желтый свитер для гольфа.

Вид у мужчины был растерянный, и, когда Мойра, администратор, спросила: «Могу я вам помочь, сэр?» – он произнес высоким, взвинченным голосом: «Мистер Уайр, где он?» – и Мойра, встревоженная его поведением, ответила: «К сожалению, он задержался в суде. У вас назначена с ним встреча? Может быть, я смогу вам помочь?»

Но мужчина припустил, как ребенок, по коридору и ворвался в переговорную, где партнеры проводили обеденное совещание – все, за исключением Тео, который еще добирался от вокзала (про совещание он забыл).

Чуть раньше Лору послали купить сэндвичей – с коктейлем из креветок, сыром и капустным салатом, с ростбифом, тунцом и сладкой кукурузой и с курицей и салатом (без майонеза) для ее отца, потому что ему следовало заботиться о своем весе, и она с нежностью подумала, какой же он растяпа, ведь утром предлагал ей пообедать вместе, а у самого – совещание. Сэндвичи, кофе и блокноты уже были разложены на столе из красного дерева (овальном, повторявшем форму комнаты) в переговорной, но никто еще не садился. Дэвид

Холройд стоял у камина и рассказывал одному из младших партнеров об «отпадно» проведенном отпуске, когда незнакомец вбежал в комнату и откуда-то, возможно из-под желтого свитера для гольфа, но точно никто не помнил, вытащил длинный охотничий нож и распорол Дэвиду Холройду темный ворс костюма от Остена Рида, белый поплин рубашки от Чарльза Тиритта, покрытую тропическим загаром кожу на левой руке и, наконец, артерию. И Лора, которая любила абрикосовый йогурт и пила чай, но не кофе, у которой был шестой размер обуви, которая обожала лошадей, предпочитала черный шоколад молочному и целых пять лет брала уроки классической гитары, но больше не играла и которая все еще грустила, что их собаку Маковку прошлым летом сбила машина, Лора, которая была Тео дочерью и лучшим другом, бросила кадастровый паспорт и вбежала в переговорную вслед за мужчиной, может быть, потому, что она закончила курсы первой помощи, или потому, что ходила на занятия по самообороне в старших классах, или, может быть, просто из любопытства, или повинуясь инстинкту, – уже не узнать, о чем она думала, вбегая в комнату, где незнакомец с проворством и грацией танцора повернулся на мысках и, продолжая движение, вспоровшее руку Дэвида Холройда, полоснул по горлу Лоры, рассек сонную артерию, и ее драгоценная, прекрасная кровь веером брызнула по комнате.

Двигаясь медленно, точно во сне или под водой, Тео поспешил по коридору в переговорную. Он заметил кофейные чашки и сэндвичи на столе из красного дерева и понял, что забыл про совещание. Кремовые стены были забрызганы кровью, у мраморного камина обмяк окровавленный Дэвид Холройд, а у самой двери на полу лежало его дитя, и в глубокой ране на ее горле пузырилась кровавая пена. Тео слышал чьи-то безудержные рыдания и как кто-то говорит: «Да где же „скорая“?»

Тео упал на колени рядом с Лорой. Над ней склонялась его секретарша Шерил, полуодетая, в юбке и лифчике. Блузку она сняла, чтобы зажать рану у Лоры на шее. Она все еще сжимала в руках мокрую кровавую тряпку, и кровь струйками стекала по ее голой коже в ложбинку между грудей. «Кровавая баня», – подумалось Тео. Кровь была повсюду: Тео стоял на коленях в кровавой луже, ковер был насквозь пропитан кровью. Кровью Лоры. А значит, и его кровью тоже. Ее белая блузка стала темно-красной. Запах крови лез ему в ноздри – медь, соль и вонь мясной лавки. Тео гадал, есть ли способ вскрыть все свои вены с артериями, выкачать из них кровь и отдать дочери. Все это время он твердил про себя, словно мантру: «Господи, пожалуйста, пусть с ней все будет хорошо»,

и ему казалось, что если он будет повторять эти слова снова и снова, то все наладится.

Глаза Лоры были приоткрыты, и Тео не мог определить, умерла она или нет. Он вспомнил, как в прошлом году сидел у обочины перед домом и укачивал сбитую Маковку. Маленькая собачонка, терьер; он держал ее на руках, пока она умирала, и видел тот же потухший взгляд: она уплывала в те края, откуда не возвращаются. Он прижал руку к ране на шее дочери, но кровь уже не текла, нечего было останавливать, поэтому он взял ее ладошку, мягкую и теплую, склонился к ее лицу и пробормотал ей в ухо: «Лора, все хорошо», а потом устроил ее голову у себя на коленях и принялся гладить ее окровавленные волосы, а его секретарша Шерил проговорила сквозь рыдания: «Да хранит тебя Бог, Лора».

В тот момент, когда он перестал молиться, в тот момент, когда он понял, что она умерла, Тео осознал, что это не кончится никогда. Лора всегда будет стоять у ксерокса, разбираясь в кадастровом паспорте, гадая, когда же вернется отец и можно ли пойти пообедать, потому что есть хочется ужасно. Может быть, жалея о том, что согласилась на эту работу, скучноватую, чего уж говорить, но она поступила так, чтобы угодить отцу, потому что ей нравилось делать его счастливым, потому что она любила его. Лора, которая спала, свернувшись калачиком, которая любила горячие тосты с маслом и все фильмы про Индиану Джонса, а «Звездные войны» – нет, Лора, чьим первым словом была «собака», Лора, которая любила дождь, но терпеть не могла ветер, которая планировала завести троих детей и которая навсегда останется у ксерокса в офисе в Парксайде, в ожидании незнакомца с ножом, в ожидании, когда все вокруг станет белым.

3

Дело № 3, 1979 г. Все ради долга, ничего по любви

Каждый день Мишель ставила будильник на пять минут раньше. Сегодня утром он прозвенел в пять двадцать. Завтра прозвенит в пять пятнадцать. Она понимала, что когда-нибудь придется остановиться, иначе она будет вставать до того, как ляжет в постель. Но не сейчас. Она была лишь на шаг впереди

ребенка, который просыпался с птичками на рассвете, а в это время года птички с рассветом с каждым днем объявлялись все раньше.

Ей просто-напросто нужно было больше времени, которого никак не хватало. И только так ей удавалось выкроить его немного. Конечно, не в буквальном смысле – хотя, если бы можно было создать новенькое, с иголочки, время, это было бы просто чудесно. Когда Мишель задумывалась о способах сотворения чего-то столь абстрактного, ей на ум шли только примеры из собственного домашнего хозяйства – вязания, шитья и выпечки. Эх, представить только, что время можно связать, ее спицы стучали бы день и ночь. И какое преимущество у нее было бы перед подругами, ни одна из которых не умела вязать (шить и печь), но опять же никто из них не обременил себя в восемнадцать лет мужем и ребенком и не торчал в треклятом доме у черта на куличках, со всех сторон окруженном только линией горизонта, отчего небо казалось каменной плитой, придавливающей тебя к земле. Хотя нет, никакое это было не бремя, она же их любила. Правда любила.

И все равно, откуда ей взять время на то, чтобы делать время? Времени нет. В этом все дело. А что, если совсем перестать спать? Она могла бы укрыться в высокой башне, как девицы из сказок, и прясть золотую пряжу времени. Она бы не ложилась спать, пока в золотых мотках на полу не набралось бы столько времени, чтобы хватило на всю жизнь, чтобы оно никогда не кончалось. Жизнь в башне, отрезанной от всех и вся, казалась Мишель просто раем.

Младенец был посылкой, доставленной по неверному адресу, которую нельзя было ни отправить обратно, ни переслать другому («Называй ее по имени, – все время повторял Кит, – называй ее Таня, а не ребенок»). Мишель только что оставила позади собственное (безрадостное) детство, а теперь, выходит, надо быть в ответе за чужое? Она знала, что это называется «связь», так было написано в книге про детей («Как вырастить ребенка счастливым», ха!). У нее не было связи с ребенком, – скорее, он заковал ее в кандалы.

Все те, кто говорил, что благоразумнее сделать аборт и закончить школу, оказались правы. Если бы она могла перевести часы назад – тоже, кстати, способ заполучить время, – она послушалась бы советов. Без ребенка на руках, она сейчас была бы студенткой: пьянки, наркотики и посредственные эссе о реформе избирательной системы 1832 года или о «Незнакомке из Уайлдфелл-Холла»[4 - «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» – роман Энн Бронте (1820–1849), младшей сестры Эмили и Шарлотты.]. Но вместо этого она сыпала семена

кориандра в ящик с компостом под плач ребенка, доносившийся оттуда, где она его оставила, когда больше не смогла выносить эти звуки. Скорее всего, из спальни, поэтому прямо сейчас ребенок извивался, как жирная гусеница, двигаясь к краю кровати, или жевал электрический провод, или задыхался в подушке.

Мишель поставила ящик с семенами на кухонный подоконник, чтобы наблюдать, как ростки пробиваются к свету. Из окна видно было край огорода – аккуратные лунки во вскопанной земле и ровные грядки гороха, размеченные натянутой между палками бечевкой. Кит не понимал, зачем ей понадобилось разбивать огород. «Мы же, блин, живем на ферме. – Он так широко раскинул руки в стороны, что стал похож на воронье пугало (они тогда шли по полю). – Здесь полно овощей. Мы можем брать все, что хотим». На самом деле там было полно картошки, а это совсем не то. И брюквы с капустой – пищи для скота и крестьян. Мишель же хотелось цукини, шпината и свеклы. И кориандра. И цветов, красивых душистых цветов: роз, и жимолости, и лилий, белоснежных лилий, какие подносят невестам или покойникам.

Поле, на котором они затеяли этот спор, покрывала кочковатая трава, которую Мишель яростно мерила шагами, толкая перед собой коляску, так что ребенок в ней подскакивал, словно краш-тестовый манекен. От злости она так разогналась, что Киту, хоть ноги у него были длинные, приходилось бежать трусцой, чтобы не отстать.

«А что плохого в картошке»? – спросил он. И Мишель сорвалась на крик: «Сейчас март, и никакой картошки нет, здесь нет ничего, ничего, кроме грязи, одна только грязь и дождь, пропади они пропадом! Тут как поле битвы на Сомме!»[5 - В Первую мировую войну наступательная операция англо-французских армий на французской территории (в бассейне реки Соммы) с 24 июня по середину ноября 1916 г., в которой союзники одержали победу над немцами и обе стороны понесли колоссальные потери.] – «Ой, вот только не надо, блин, мне тут драм устраивать!» И она подумала, до чего же у него нелепый говор, как у деревенщины из тупой комедии, как у трехнутого пожирателя картошки. Сама Мишель избавлялась от акцента, слушая, как говорит по телевизору средний класс и учителя в школе, пока не добилась произношения, по которому невозможно было определить, откуда она родом. Она пошла еще быстрее и уже почти бежала.

«И вообще, – проорал он ей в спину, – может, я не хочу жрать этот треклятый кориандр!» Она резко остановилась, чуть не вытряхнув младенца из коляски. Потом повернулась и сказала: «А вот я, может быть, хочу». И вперила в него долгий взгляд, жалея, что нет под рукой колуна, чтобы разрубить его башку, как дыню или тыкву, на две половинки. Нет, не дыню, дыни такие сладкие и экзотические, недостаточно заурядные для его головы, а тыквы – это овощи из сказок. Как репу. Репа – грубый, деревенский овощ. И он упал бы, как обезглавленное пугало, прямо здесь, на поле, и утонул бы в земле, с глаз долой, и тогда она смогла бы отдать ребенка своей матери и сломать еще одну жизнь.

Или, может быть, – сюжет для ночного кошмара – он бы начал расти и множиться в земле, и с приходом лета появилась бы сотня, тысяча Китов, кивающих и гнущихся на ветру, словно подсолнухи в поле.

Колун – нет, вы вдумайтесь! У всех нормальных людей есть центральное отопление или, по крайней мере, отопление, о котором не приходится думать, им не нужно тащиться на улицу в любую погоду, чтобы напилить и наколоть дров для камина, и часами ждать, пока прогреется бойлер, чтобы из крана просто потекла горячая вода.

У них не было даже угля: дрова-то бесплатные, руби сколько влезет. Топор – это что-то из сказок. Может быть, именно это с ней и случилось, может, она застряла в страшной сказке, и ей не освободиться, пока она не соберет всю картошку в поле и не изрубит на дрова все деревья в лесу. Если только она не научится прясть время. Или у нее не лопнет голова. Столько было тяжелой и нудной работы, что она чувствовала себя крепостной крестьянкой, несущей феодальную повинность.

«Дай мне коляску, – сказал Кит, – пока у Тани сотрясение мозга не случилось».

Мишель внезапно почувствовала, что ярость иссякла; она слишком устала, ей не хватало сил даже на то, чтобы злиться. Теперь они шли бок о бок, медленно, и ребенок наконец уснул – что изначально, в другой жизни, и было целью прогулки.

Кит обнял Мишель за плечи и потерся подбородком о ее макушку: «Я люблю тебя, детка, ты же знаешь, да?» И все было бы очень мило, если бы не пошел дождь и ребенок-букашка снова не заголосил.

Мишель выросла в не отличавшемся порядком доме в Фен-Диттоне, одном из мрачных поселков-спутников, пристанище кембриджской бедноты. Ее отец был пьяницей и, как любила повторять мать Мишель, «зря небо коптил», однако та продолжала с ним жить, потому что не хотела оставаться одна, что, по мнению Мишель и ее сестры, было достойно презрения. Мать тоже пила, но, по крайней мере, рук не распускала. Сестре Мишель, Ширли, было пятнадцать, и она пока жила с родителями; Мишель хотелось, чтобы она переехала к ним, но у них не было для нее комнаты. Она скучала по Ширли, очень. Ширли хотела выучиться на врача, она такая умная, все говорили, что она «далеко пойдет». О Мишель тоже так говорили – до Кита, до рождения букашки. Теперь, похоже, она не пойдет никуда.

Домишко у них был тесный. Спальня притулилась под скатом крыши, а детская больше напоминала шкаф, хотя ребенок почти там и не бывал, не желал, как полагается, мирно спать в своей кроватке, а вместо того постоянно требовал, чтобы его таскали на руках. После родов Мишель не прочитала ни одной книги. Она пыталась пристроить книгу на подушке, пока кормила, но ребенок переставал сосать, если замечал, что мать отвлеклась. Потом пришлось завязать с кормлением грудью (слава богу), потому что молоко ушло («Вам надо расслабиться и радоваться малышу», – говорила акушерка, но чему тут радоваться?), ну а чтобы управляться с бутылочкой, книгой и младенцем, потребовалось бы три пары рук. Вот, кстати, еще один способ сэкономить время.

Во время беременности Мишель старательно украшала детскую. Она выкрасила стены в яично-желтый цвет, нарисовала по трафарету бордюр из утят и овечек и сшила веселенькие ситцевые занавески в желто-белую клетку, отчего комнатка будто наполнилась солнечным светом. Мишель всегда все делала так, как положено. С самого детства она была чистенькой и аккуратной, и ее мать смеялась и говорила: «Не знаю, от кого это в ней, уж точно не от меня» (ох, как же это было верно). И в школе так же: на учебниках ни пятнышка, рисунки и контурные карты всегда идеальны, все подчеркнуто, занесено в таблицы и пронумеровано; она работала так старательно и методично, что учителя ставили ей хорошие отметки, даже если она допускала ошибки. Она должна была поступить в университет, вырваться на свободу, но вместо этого ее сбил с пути парень с дипломом сельскохозяйственного колледжа, работавший на частной ферме и не имевший ни гроша за душой.

Она начала встречаться с Китом Флетчером, когда ей было шестнадцать, а ему двадцать один, и все подруги ей завидовали, потому что он был старше, ездил на мотоцикле и вообще был невероятно сексуальным красавчиком-брюнетом с серьгой в ухе и этакой лисьей ухмылкой, отчего она привыкла считать его цыганом, – очень романтично, но, конечно, серьга в ухе и лисья ухмылка не делают человека цыганом. В принципе, никем не делают. А теперь у него не было даже мотоцикла, потому что он его продал и купил взамен старенький фургон.

В те давние времена, когда Мишель заботилась только о том, чтобы сдать вовремя сочинение и есть ли у нее новая пара колготок, в те другие времена, в молодости, она считала, что домик в деревне – это очень романтично, а когда она впервые его увидела, то подумала, что это самый миленький старенький домик на свете, а дом действительно был очень маленький и очень старый – лет двести, не меньше, – кирпичный, с рельефом из песчаника над дверьми и окнами, некогда это был – да-да – домик лесника, и землевладельцы разрешили Киту и Мишель жить там после свадьбы. Дом был «привязан» к земле, и Мишель находила это забавным (только вот смеяться не хотелось), потому что и сама она была на привязи.

У нее перед глазами мелькала картина славного будущего: милый домик, цветущий сад, урожайный огород, хлеб в духовке, миска клубники на столе, счастливый малыш, висящий у нее на бедре, пока она бросает корм курам. Прямо как в романе Гарди[6 - Томас Гарди (1840–1928) – английский писатель и поэт, воспевший «Зеленую Англию».] – до того как все идет прахом.

Когда она вышла замуж, на шестом месяце беременности, то бросила школу и подработку в кафе, и Кит сказал: «Ничего, вот ребенок родится, и ты сможешь поступить в колледж и все такое». Хотя они оба знали, что на хороший университет теперь рассчитывать нечего, в лучшем случае на какой-нибудь зачуханный политех в зачуханном городишке (может, даже в Кембридже, помогай Боженька), где ей в итоге придется изучать экономику или управление гостиничным хозяйством. И Мишель думала, да, я поступлю в колледж, конечно поступлю, а пока, раз уж так все вышло, надо стать хорошей женой и матерью, вот почему она дни напролет мыла, скребла, пекла и готовила и усердно читала книги по домоводству, поражаясь, сколько навыков и умений требуется для создания «уютного гнездышка» – шить стеганые лоскутные покрывала, пришивать оборочки к занавескам, мариновать огурцы, варить варенье из ревеня, делать украшения из сахарной глазури для рождественского пирога (и

чтоб никак, упаси господи, не позднее сентября), и при всем при этом не забыть посадить луковицы в горшки, чтобы цветы распустились к «наступающим праздникам», и так далее, и так далее, на каждый месяц – свой список подвигов, с которыми не справился бы и Геракл, и это все, не считая каждодневной готовки, что теперь, после отлучения ребенка от груди, стало вдвойне сложнее.

Мать, увидев, как она делает пюре из вареной моркови и запекает в духовке яичный крем, всплеснула руками: «Бога ради, Мишель, да просто дай ей баночку „Хайнца“». Но если покупать готовое питание, она же их по миру пустит, она ведь только и делает, что ест и жиреет, как личинка. Постоянно голодная, всегда ей мало. И вообще, еда из банок – это не по правилам, все надо делать как положено, хотя даже Ширли, которая обычно была на ее стороне, заявила: «Мишель, незачем так надрываться». Но она надрывалась, потому что ею двигало что-то, она только не понимала, что именно, но твердо знала, что если однажды доведет все до конца, то освободится от этого чувства. «Нельзя все делать идеально, Мишель, – говорила Ширли. – Никому это не удается». Еще как удается, если только хватает времени.

Она раздумывала, не завести ли им кур или дойную козу, может быть, чего-то не хватает, может, всего только одна жирная белая несушка виандот – и сложится идиллия. Или сицилийский баттеркап. Ей-богу, у куриных пород такие красивые названия: брама, и вельзумер, и фавероль. У Мишель была книга про кур. Она украла ее из библиотеки, ведь теперь едва ли скоро получится выбраться в город. Воровство – это нехорошо, но деревенское невежество – куда хуже. Или, может быть, коза – ламанча или бьондо-дель-амаделло? Книгу про коз она тоже украла. Деревенская жизнь превратила ее в воровку. У козьих пород названия смешные: западноафриканская карликовая и теннессийская обморочная. Или, может быть, нужна идеальная клубничная грядка, вигвам из фасоли, ровный рядок кабачков – и тогда волшебный ключ откроет дверь к счастью. Она не стала говорить Киту о западноафриканской карликовой и теннессийской обморочной: хоть он и родился, и вырос в деревне, но зачем ему разводить скот, если есть супермаркет? И, кроме того, муж с ней почти не разговаривал, потому что всякий раз, когда он тянулся к ней в постели, она отталкивала его, поворачивалась к нему холодной спиной и думала: вот каково это – разлюбить.

Иногда Мишель пыталась вспомнить, как было до рождения ребенка, когда они были только вдвоем и могли весь день валяться в постели, до изнеможения заниматься сексом, а потом есть тосты с джемом и смотреть крошечный черно-

белый телевизор, который стоял в изножье кровати, пока Мишель не опрокинула его, потому что Кит смотрел снукер (на черно-белом телевизоре – какой смысл?), а ребенок надрывался криком, и она просто не могла так больше.

Она любила их, правда любила. Она просто не могла этого почувствовать.

Между ними не было связи, они были как молекулы, которые не могут образовать стабильные соединения и носятся туда-сюда, словно шары в бинго. Нужно было учить естественные науки, а не забивать себе голову романами. Романы дают совершенно ложное представление о жизни, они лгут, внушают, что всему есть конец, но у реальности нет финала, жизнь просто тянется, и тянется, и тянется.

И тогда она начала вставать еще раньше, потому что, если она хочет выбраться из этого болота, надо готовиться к выпускным экзаменам. Если вставать в четыре утра – когда, о чудо, ни птицы, ни ребенок не нарушают тишину, – можно приготовить ужин, прибрать на кухне, помыться и потом, если повезет, достать свои старые школьные учебники и продолжить образование с того места, на котором она его бросила. Потому что время нельзя создать, ее обманули. Время – вор, который крадет у нее жизнь, и единственный способ вернуть пропажу – перехитрить время.

Это был обычный день (во всяком случае, для Мишель). Суббота. Мишель поднялась в половине четвертого утра и была, как никогда, довольна своей стратегией. В холодильнике ждало блюдо с лазаньей, аккуратно закрытое пищевой пленкой, и она испекла шоколадный торт – любимое лакомство Ширли, потому что по субботам сестра часто приезжала их навестить. Она прочитала три главы из «Великобритании между мировыми войнами» Моуэта и составила план для сочинения по «Королю Лиру». Девочка была накормлена, умыта и наряжена в симпатичный комбинезончик из «ОшКоша», в бело-голубую полоску, подарок Ширли. Она курлыкала сама с собой в манеже и не мешала Мишель мыть окна. Небо было синее, дул свежий ветерок, а в огороде показались ростки, даже кориандр проклюнулся.

Спустя какое-то время она взглянула на девочку и увидела, что та спит в манеже, свернувшись гусеницей, и Мишель подумала, что надо воспользоваться

передышкой и сесть за географию, но в этот самый момент в дом ввалился Кит с охапкой дров и с грохотом вывалил их у камина – и девочка проснулась и тут же, будто кто-то нажал на кнопку, зашлась ревом, и Мишель тоже принялась кричать и кричала, стоя посреди комнаты, опустив руки, пока Кит не влепил ей пощечину, которая обожгла ее, как клеймо.

У нее уже саднило в горле от крика, и накатила слабость, она едва не падала и теперь должна была бы – потому что, чего скрывать, они уже проходили все это раньше (не считая пощечины) – разрыдаться, и Кит обнял бы ее и сказал: «Все хорошо, детка, все хорошо», и она порыдала бы, а потом успокоилась, и они вдвоем баюкали бы девочку, пока и та бы в свою очередь не затихла.

Потом они растопили бы камин – по вечерам бывало прохладно, – и разогрели лазанью, и устроились поудобнее, чтобы посмотреть какую-нибудь ерунду на новом цветном телевизоре, купленном взамен старого черно-белого. Набив животы, они отправились бы в постель и занялись бы сексом, чтобы окончательно помириться, и хорошо выспались бы, чтобы подготовиться к очередному дню той же самой жизни, но, когда Кит подошел, чтобы обнять ее, она плюнула ему в лицо, чего тоже раньше никогда не бывало, а потом выбежала на улицу, схватила топор, воткнутый в чурбак рядом с козлами, и вбежала обратно в дом.

Было очень холодно, огонь в камине так и не развели. Мишель сидела на полу. Девочка спала, негромко, но горестно поикивая, вид у нее был измученный, ее снова оставили засыпать в слезах. В груди у Мишель рос тяжелый ком, как будто камень; ее подташнивало. Она даже не представляла, что можно так плохо себя чувствовать. Она смотрела на Кита, и ей было жаль его. Когда рубишь дрова и поленья раскалываются от удара топора, пахнет чудесно – Рождеством. Но когда от удара раскололась голова, запахло скотобойней, и эта вонь перебила аромат сирени, которую она срезала и поставила в воду этим утром, но уже в другой жизни.

Если бы она могла загадать одно-единственное желание, если бы в холодной гостиной маленького коттеджа появилась фея-крестная (которой в жизни Мишель ощутимо не хватало) и предложила ей все, что она пожелает, – Мишель бы точно знала, о чем просить. Она бы вернулась в тот день, когда родилась, и начала все заново.

Мишель раздумывала, не пора ли встать с пола и немного прибраться, но она так устала, что решила просто сидеть и ждать, когда приедет полиция. Теперь у нее было все время на свете.

4

Джексон

Джексон включил радио и слушал ободряющий глас Дженни Мюррей[7 - Дженнифер Сьюзен Мюррей (р. 1950) – британская журналистка и радиоведущая, активная феминистка.] в «Женском часе». Он прикурил новую сигарету от окурка, потому что спички кончились, и, оказавшись перед выбором: одну за одной или воздержание, выбрал первое, – сдавалось ему, в его жизни воздержания и так более чем достаточно. Если бы он починил прикуриватель, не пришлось бы таким манером приканчивать всю пачку, но в машине много чего нуждалось в починке, и прикуриватель не был первым в списке. Джексон ездил на черном «Альфа-Ромео-156», он купил его подержанным четыре года назад за тринадцать тысяч фунтов. Теперь эта машина едва ли стоила больше, чем горный велосипед «эммель-фридом», который он недавно подарил дочери на ее восьмой день рождения (с условием, что она не будет кататься по проезжей части, пока ей не стукнет по крайней мере сорок).

Когда он вернулся домой с «альфа-ромео», жена бросила на его приобретение пренебрежительный взгляд и заявила: «Типичная полицейская тачка». Четыре года назад Джози ездила на собственном «поло» и была замужем за Джексоном, а теперь она жила с бородатым профессором английской филологии и водила его «Вольво-V70» с наклейкой «Ребенок в машине» на заднем стекле, которая свидетельствовала как о прочности их отношений, так и о желании этого самодовольного козла показать окружающим, что он заботится о чужом ребенке. Джексон эти наклейки терпеть не мог.

Он снова закурил всего полгода назад. Джексон не прикасался к сигаретам пятнадцать лет, но у него было такое чувство, будто он никогда не переставал курить. И совершенно без причины. «Да просто так», – сказал он, не слишком удачно изобразив в зеркале фирменную мину Томми Купера[8 - Томас Фредерик «Томми» Купер (1921–1984) – британский комик и иллюзионист, не

расстававшийся с сигарой.]. Конечно, это было не «просто так», просто так ничего не бывает.

Ей лучше поторопиться. Парадная дверь оставалась решительно закрыта. Дверь из дешевого дерева, покрытая лаком, с окошком-веером над притолокой, под георгианский стиль, точная копия любой другой двери в Черри-Хинтоне. Джексон мог бы вышибить ее одним пинком. Она опаздывала. В час у нее вылет, и сейчас ей уже следовало быть на пути в аэропорт. Джексон приоткрыл окно, чтобы впустить воздух и выпустить дым. Она вечно опаздывала.

Разбавлять скуку с помощью кофе не годится, разве что тогда ссать в бутылку, а это не вариант. Теперь, после развода, он был волен употреблять слова вроде «ссать» и «дерьмо» – элементы лексикона, почти уничтоженные Джози. Она была учительницей начальных классов и большую часть рабочего дня перевоспитывала пятилетних мальчиков. А потом приходила домой и делала то же самое с Джексоном («Ради бога, Джексон, есть же пристойное слово – пенис»), они вместе готовили пасту и зевали под разную срань по телевизору. Ей хотелось, чтобы их дочь Марли «использовала правильные анатомические названия половых органов». Джексон предпочел бы, чтобы Марли вообще не знала о существовании половых органов, а не сообщала отцу, что она «получилась», когда он «вставил свой пенис в мамочкино влагалище», – странное медицинское описание стремительного потного акта, случившегося где-то в поле, на обочине шоссе A1066 между Тетфордом и Диссом, акробатического совокупления в его стареньком двухдверном «БМВ» (типичная полицейская тачка, он очень по ней скучал, да упокоится она с миром). В те времена им могло приспичить заняться сексом где угодно; единственное, что выделяло тот случай из остальных, – так несвойственное Джози наплевательское отношение к противозачаточным средствам.

Потом она винила в последствиях (Марли) Джексона, мол, он не подготовился, но Джексон считал Марли выигрышем в лотерею, да и, в конце концов, чего Джози ожидала, принявшись ласкать его – будем анатомически точны – пенис, когда он всего-навсего хотел добраться до Дисса (цели той поездки история не сохранила). Сам Джексон был зачат в отпуске в эрширском пансионе, что его отец всегда находил необъяснимо забавным.

Заныл мочевой пузырь – зря он подумал про кофе. Когда «Женский час» закончился, он поставил компакт с «Алабамской песней» Эллисон Мурер[9 - Эллисон Мурер (р. 1972) – американская кантри-певица, «Alabama Song» (1998) –

ее дебютный альбом.] – эта меланхоличная музыка его успокаивала. Bonjour Tristesse[10 - Здравствуй, грусть (фр.). Так назвала свой первый роман (1954) писательница Франсуаза Саган (1935–2004).]. Джексон брал уроки французского, предвкушая тот день, когда распродаст все, что нажил, и уедет за границу, и будет делать то, что обычно делают люди, досрочно вышедшие на пенсию. Гольф? Французы играют в гольф? Джексон не мог припомнить ни одного французского игрока в гольф – хороший знак, потому что сам он не выносил гольф. Ну, или будет просто играть в boules[11 - Шары (фр.) – собирательное название игр с металлическими шарами, включая петанк (французский боулинг).] и смолить одну за другой. В курении французам нет равных.

В Кембридже Джексон никогда не чувствовал себя дома, и, если уж на то пошло, он никогда не чувствовал себя дома на юге Англии. Он приехал туда, можно сказать, случайно, последовав за подружкой и оставшись ради жены. Много лет он подумывал о том, чтобы перебраться обратно на север, но знал, что никогда этого не сделает. Там его никто не ждал, кроме дурных воспоминаний и прошлого, которое он не сможет изменить, да и вообще, к чему все это, если по другую сторону Ла-Манша простирается Франция – причудливым лоскутным одеялом из подсолнухов, и виноградных лоз, и маленьких кафе, где он мог бы сидеть дни напролет, смакуя местное вино и горький эспрессо и куря «Житан», и где каждый бы говорил ему: «Bon-jour, Джексон», только они произносили бы «Жаксун», и он был бы счастлив. Сейчас же он ощущал себя ровно наоборот.

Конечно, такими темпами досрочно ему на пенсию не выйти. Джексон помнил те времена, когда сам он был подростком, а пенсионеры – стариками, ковылявшими между своим огородом и уголком в пивной. Они казались ему очень старыми, хотя, наверное, им было лишь немногим больше, чем ему сейчас. Джексону было сорок пять, но он чувствовал себя чуть не в полтора раза старше. Он вступил в тот опасный возраст, когда мужчины вдруг сознают, что в конце концов неизбежно умрут и ни черта не могут с этим поделать, но это не мешает им пытаться сделать хоть что-нибудь – трахать все, что движется, или слушать раннего Брюса Спрингстина[12 - Брюс Спрингстин (р. 1949) – американский рок– и фолк-музыкант.] и покупать мотоциклы премиум-класса (обычно «БМВ-К-1200-LT», что значительно повышало их шансы встретить смерть раньше). Были и такие, кто застревал в колее привычного алкогольного отупения, – шоссе в никуда для среднего бета-самца (по которому отправился его отец). Но был и путь, выбранный Джексоном, который вел к ежедневному дзену во французском домике с белыми оштукатуренными стенами, горшками с геранью на подоконниках и синей облупившейся дверью, потому что кому, черт побери, во

французской глубинке есть дело до свежего ремонта?

Он припарковался в тени, но солнце успело подняться выше, и в машине становилось жарковато. Ее звали Никола Спенсер, ей было двадцать девять лет, и она жила в чистеньком кирпичном гетто. Для Джексона все дома и улицы в этом районе выглядели одинаково, и если бы он на минуту отвлекся, то оказался бы в Бермудском треугольнике как две капли воды похожих друг на друга открытых газонов. Джексон питал нездоровую антипатию к жилым комплексам. Отчасти это было связано с его бывшей женой и семейной жизнью. Это Джози хотела дом в новом квартале, она одной из первых подала заявку на жилье в Кембурне, построенном в лучших диснеевских традициях «жилом массиве» в пригороде Кембриджа, с площадкой для крикета на «традиционной» зеленой лужайке и с игровой зоной «в римской тематике». Это Джози заставила их переехать в новый дом, когда улица еще была сплошь стройплощадкой, и настояла, чтобы они обставили его практичной современной мебелью, Джози, которая отвергала избыточный викторианский стиль, которая считала обилие ковров и штор «удушающим» и которая теперь проживала с Дэвидом Ластингемом в настоящей лавке древностей – доме рядовой застройки викторианской эпохи, набитом антикварной мебелью, унаследованной им от родителей, где каждая поверхность была устлана, задрапирована и снабжена занавесочками. («Ты вообще уверена, что он не гомик? – спросил Джексон у Джози, просто чтобы позлить. – Ради всего святого, этот парень ходил в салон красоты на маникюр». А она рассмеялась: «Уж у него-то с мужским достоинством все в порядке, Джексон».)

Снова зуб разболелся. Сейчас Джексон виделся с дантистом чаще, чем с женой в последний год брака. Его врача звали Шерон, и она была, по отцовскому выражению, «шикарно укомплектована». Ей было тридцать шесть, она ездила на «БМВ-Z3», который, по мнению Джексона, скорее подошел бы парикмахерше, и тем не менее он находил докторшу весьма и весьма. К сожалению, не представлялось возможным завести отношения с кем-то, кому нужны маска, защитные очки и перчатки, чтобы к тебе прикоснуться. (Или кто заглядывает тебе в рот и протягивает: «Курим, Джексон?»)

Он открыл допотопный номер «Le Nouvel Observateur»[13 - «Новый обозреватель» (фр.) (с 1964) – французский еженедельник, одно из крупнейших новостных изданий.] и попытался читать – его учитель французского утверждал, что надо погружаться во французскую культуру, даже если ничего в ней не понимаешь. Джексон узнавал где-то по слову на строку и еще формы

сослагательного наклонения, шрапнелью разбросанные по тексту, – если и есть бесполезная глагольная форма, так это французский субжонктив. Он сонно вел взглядом по странице. Большая часть его теперешней жизни состояла из простого ожидания – занятия, которое он двадцать лет назад считал бесполезным, а сейчас находил почти приятным. Ничегонеделанье куда продуктивнее, чем принято считать. Нередко самые глубокие прозрения посещали его тогда, когда он казался абсолютно праздным. Ему не было скучно, он просто уходил в никуда, в пространство. Иногда он подумывал, что не прочь уйти в монастырь, из него получился бы хороший аскет, анахорет или буддистский монах.

Однажды Джексон арестовал старика-ювелира, занимавшегося скупкой краденого. Когда он явился за ним в его мастерскую, тот сидел в старинном кресле, курил трубку и рассматривал кусок камня на верстаке. Не сказав ни слова, он взял камень и вложил в Джексонову ладонь, словно подарок. Это напомнило Джексону его учителя биологии, который давал ученику какой-нибудь предмет, птичье яйцо или лист дерева, и заставлял рассказывать об этом предмете, – такое вот обучение наоборот. Камень оказался куском темного железняка и походил на окаменелую древесную кору, а в центре его виднелась стиснутая жилка молочного опала, точно туманная дымка предрассветного летнего неба. Известен капризностью в обработке, сообщил старик Джексону. Он сказал, что смотрит на камень уже две недели, еще две – и он, возможно, будет готов начать огранку, а Джексон ответил, что следующие две недели он проведет в камере предварительного заключения, но у ювелира был хороший адвокат, он вышел под залог и отделался условным приговором.

Год спустя Джексону в полицейский участок пришла посылка. Внутри не было записки, только коробочка, в которой на темно-синем бархате лежал опаловый кулон, маленький кусочек неба. Джексон знал, что старик преподал ему урок, но ему понадобилось много лет, чтобы понять его смысл. Он собирался подарить кулон Марли на восемнадцатилетие.

Муж Николы Спенсер, Стив Спенсер, был убежден, что его жена «обзавелась кавалером», – так он выразился, деликатно и несколько даже куртуазно. Джексон привык, что охваченные подозрениями супруги, обращающиеся к нему, озвучивают свое недоверие не в пример жестче. Стив был человеком нервического склада, параноиком и никак не мог понять, как ему удалось заарканить такую «роскошную женщину», как Никола. Джексон повидал на

своем веку роскошных женщин, и они мало напоминали Николу Спенсер, однако он подумал, что если бы сам был замужем за Стивом Спенсером, то не преминул бы «обзавестись кавалером». Стив работал провизором в аптечной сети, и похоже, у него не было ни хобби, ни других интересов, кроме Николы. Для него она была «единственной женщиной на свете». Джексон не верил, что каждому судьбой предназначен только один человек. А если и так, то, зная его, Джексона, везучесть, единственная и неповторимая трудится на рисовых полях посреди Китая или же это осужденная киллерша в бегах.

В свободное от работы время Никола Спенсер ходила в фитнес-клуб, в «Сейнсбериз» (и однажды, без какой-либо явной причины, в «Теско»), навещала мать, подругу Луизу и подругу Ванессу. Ванесса входила в женатую пару «Ванесса и Майк», которые считались друзьями «Стива и Николы». Насколько Джексон мог судить, Луиза с Ванессой знакомы не были. Еще Никола регулярно посещала автозаправку, очевидно, чтобы заправиться, и в магазине при заправке иногда покупала молоко и почти всегда шоколад и свежий номер «Хелло!» или «Хита»[14 - «Хелло!», «Хит» – популярные еженедельные журналы с новостями о знаменитостях.]. Как-то раз ездила в садоводческий центр, где купила лоток с рассадой, которую сразу же высадила, а потом забывала поливать – к такому выводу Джексон пришел, когда забрался на садовый забор подглядеть, что происходит chez Спенсеров[15 - У Спенсеров (фр.).] или, правильнее сказать, au jardin[16 - В саду (фр.).] Спенсеров.

Кроме того, за последние четыре недели Никола заходила в гипермаркет «Умелые руки», где купила отвертку и нож для гипсокартона, в «Хабитат», где купила настольную лампу, в «Топ-Шоп» за белой футболкой, в «Некст» за белой блузкой, в «Бутс» (дважды за косметикой и туалетными принадлежностями и один раз за понстаном[17 - Понстан – нестероидное противовоспалительное средство в таблетках.] по рецепту), в «Роберт Сейлз» за парой голубых полотенец для рук и в рыбную палатку на рынке, где купила (дорогущего) морского черта для ужина с вышеупомянутыми Ванессой и Майком; морской черт, как сообщил потом Стив Спенсер, оказался «сущим кошмаром». Очевидно, Никола не отличалась кулинарным талантом. Она тоже вела чертовски скучную жизнь, если только с ней не происходило что-то фантастически интересное, пока она толкала тележку взад-вперед по проходу экономкласса в самолете. Может, то же самое произошло с Джози, и потому она «обзавелась» Дэвидом Ластингемом, может, ей стало невыносимо скучно с Джексоном? Она познакомилась с ним на вечеринке – Джексон не смог пойти из-за работы, – и новоявленная парочка «старалась сдерживать свои чувства», но, судя по всему, старалась недостаточно, потому что не прошло и полугода, как они стали

«обзаводиться» друг другом при каждом удобном случае, и теперь Дэвид Ластингем вставляет пенис в мамочкино влагалище, когда пожелает.

Джози сразу подала на развод. Непреодолимые противоречия – как будто это он был во всем виноват и она не трахалась с каким-то козлобородым педрилой. («Дэвид, – говорила Марли с куда большей симпатией, чем хотелось бы Джексону, – он хороший, покупает мне шоколад и делает классные макароны». У девчонки от желудка к сердцу вела шестиполосная магистраль. «Это я делаю классные макароны», – заявил Джексон и сам услышал, как по-детски это прозвучало, но ему было плевать. Он попросил приятеля поискать Дэвида Ластингема в списке педофилов. Просто на всякий случай.)

Джексон докуривал последнюю сигарету. За все то время, что он за ней наблюдал, Никола Спенсер не сделала ничего хоть в малейшей степени подозрительного, так что если она и ходила на сторону, то на очень далекую сторону, – все эти ночевки в отелях средней руки, теплые вечера и дешевый алкоголь создавали отличную атмосферу для шалостей. Джексон пытался объяснить Стиву, что, если тот действительно хочет выяснить, что происходит, ему придется оплатить детективу билет на рейс Николы, но Стив не горел желанием спонсировать, как он, похоже, считал, заграничный отпуск Джексона. Джексон думал, что, наверное, все равно с ней полетит, а потом проявит творческий подход к счетам – билет туда-обратно в любой город Европы легко растворится среди «прочих» расходов. Может, он дождется, пока она полетит во Францию, и последует по пятам. Джексон не хотел в отпуск, он хотел новую жизнь. И он хотел отделаться от Николы Спенсер с ее унылым существованием.

Когда два года тому назад Джексон подался в частные детективы, он вовсе не считал эту профессию захватывающей. К тому времени он двенадцать лет отслужил в полиции Кембриджшира, а до этого состоял в рядах военной полиции, так что у него не было иллюзий насчет того, как устроен мир. Расследовать чужие трагедии, ляпы и злоключения – это все, что он умел. Он привык быть посторонним, подглядывающим в щелку, и ничто – действительно ничто – его больше не удивляло. Но, несмотря на богатый опыт, в глубине души у него оставалась надежда (маленькая, потрепанная и избитая), что смысл его работы – помогать людям быть хорошими, а не наказывать за то, что они плохие.

После того как его брак растаял у него на глазах, он ушел из полиции и открыл детективное агентство. «А как же твоя пенсия?» – спросила Джози. «А что моя

пенсия?» – переспросил Джексон с беспечностью, о которой уже начинал жалеть.

По большей части его нынешняя работа была либо утомительной, либо скучной: вручение судебных повесток, проверка биографических данных, просроченные долги да иногда выслеживание торговца-мошенника, до которого у полиции не доходили руки («Я заплатил ему триста фунтов аванса за материалы и больше его не видел». Ну надо же). Не говоря уже о пропавших кошках.

Как по заказу, мобильник зазвонил грубоватой версией «Кармины Бураны»[18 - «Кармина Бурана» – кантата, написанная немецким композитором Карлом Орфом в 1935–1936 гг. на тексты средневековой поэзии.] – персональный рингтон Бинки Рейн (Бинки – что это за имя такое?). Бинки Рейн была первой клиенткой Джексона, когда он стал частным детективом, и ему казалось, что он не избавится от нее до пенсии, и даже тогда она, скорее всего, потащится за ним во Францию с волшебной дудочкой, ведя за собой беспризорных котов. Она была кошатницей, сумасшедшей старой каргой, которая привечала каждого бродячего представителя кошачьего племени в Кембридже.

Бинки перевалило за девяносто, она была вдовой члена совета Питерхауса[19 - Питерхаус – старейший колледж Кембриджского университета, основан в 1284 г.], дона[20 - Дон – так по традиции называют преподавателей в английских университетах.] по философии (несмотря на прожитые в Кембридже четырнадцать лет, слово «дон» у Джексона по-прежнему ассоциировалось с мафией). Доктор Рейн – «Джулиан» – уже давно удалился на покой в огромную профессорскую на небесах. Сама Бинки выросла в колониальной Африке и обращалась с Джексоном как со своим слугой – она всех считала слугами. Она жила в Ньюнхеме, что по пути в Грантчестер-Медоуз, в одноэтажном коттедже, построенном где-то между мировыми войнами, который, вероятно, некогда был совершенно обычным домом из красного кирпича, но за годы небрежения превратился в развалину из готического романа. Дом кишел кошками, десятками и сотнями проклятых тварей. От одной мысли о стоявшем там запахе у Джексона подкатывало к горлу: кошачья моча, метки самцов, повсюду блюдца с дешевыми консервами из субпродуктов, которыми пренебрегали даже производители бургеров. У Бинки Рейн не было ни денег, ни друзей, ни семьи, соседи сторонились ее, но тем не менее она без особых усилий создавала вокруг себя ауру аристократического высокомерия, словно заброшенная на чужбину королевская особа, вынужденная ходить в лохмотьях. Бинки Рейн была из тех, кто, умерев, неделями лежит в собственном доме, разве что ее быстрее съели

бы кошки.

Первый раз она обратилась к Джексону с жалобой на то, что кто-то крадет ее кошек. Джексон так и не сумел выяснить, действительно ли кошки пропадали, или же она думала, что они пропадали. Особенно она волновалась за черных. «Кто-то их забирает», – говорила Бинки тонким надтреснутым голосом, с акцентом столь же анахроничным, как и она сама. Пережиток, обломок времени и мест, давно канувших в историю. Первым был объявлен в розыск черный кот по кличке Нэгр (Негр). У Джексона челюсть отвисла, но Бинки Рейн явно не видела в этом ничего предосудительного. С нэграми (неграми) это не связано, снисходительно пояснила она, ее питомец был наречен в честь кота капитана Скотта с «Дискавери»[21 - Роберт Скотт (1868–1912) – офицер британского флота и полярный исследователь, в 1901–1904 гг. возглавлял экспедицию в Антарктику на борту судна «Дискавери».]. (И поди ж, разгуливала по мирному Ньюнхему с воплями «Нэгр!».) Ее деверь был доблестным членом Института полярных исследований Скотта, что на Ленсфилд-роуд, и однажды участвовал в зимовке на шельфовом леднике Росса, очевидно сим сделав Бинки экспэртом (экспертом) в антарктических исследованиях. Скотт был «дураком», Шеклтон[22 - Эрнест Шеклтон (1874–1922) – британский полярный исследователь, участвовал в экспедиции Скотта на «Дискавери», позже возглавил собственную экспедицию к Южному полюсу.] – «бабником», а Пири[23 - Роберт Пири (1856–1920) – американский исследователь Арктики.] – «американцем», чего, похоже, для отрицательной характеристики было достаточно. Высказывания Бинки насчет полярных экспедиций («Лошади! Только идиот взял бы лошадей!») явно свидетельствовали о том, что самым опасным путешествием в ее жизни был вояж из Кейптауна в Саутгемптон в каюте первого класса на борту «Данноттар-кастл» в 1938-м.

Лучший друг Джексона, Хауэлл, – чернокожий. Когда Джексон рассказал ему про кота Нэгра, тот хохотал во все горло. Они с Хауэллом дружили с армии, оба пришли служить рядовыми. «Нэгры», – хохотал Хауэлл, передразнивая белую старуху. Специфическое было зрелище, потому что росту в Хауэлле шесть футов шесть дюймов и он самый черный из всех чернокожих, которых Джексон когда-либо встречал. Демобилизовавшись, Хауэлл вернулся в родной Бирмингем и теперь работал в большом отеле швейцаром. На службе ему полагалось наряжаться в нелепый опереточный костюм – ярко-синий сюртук, обшитый золотым галуном, и, что еще хуже, цилиндр. Однако Хауэлл производил настолько внушительное впечатление, что не только не выглядел глупо в ливрейном наряде, но даже сообщал тому некоторое благородство.

У Хауэлла, наверное, тоже опасный возраст. Интересно, как он справляется? В последний раз они общались больше полугода назад. Вот так и теряешь людей: стоит только отвлечься, и они ускользают из рук. Джексон скучал по Хауэллу. Как-то между прочим он ухитрился потерять не только жену и ребенка, но и всех друзей. (Хотя были ли у него друзья, кроме Хауэлла?) Может, поэтому люди забивают свои дома вонючими кошками – чтобы не замечать одиночества, чтобы не умереть без живой души рядом. Джексон надеялся, что с ним так не будет. Лично он собирался умереть во Франции, в кресле, в саду, после хорошего обеда. Может быть, Марли как раз приедет погостить и возьмет с собой своих детей, и Джексон увидит, что часть его продолжит жить в будущем и смерть не конец всему.

Джексон спихнул Бинки на автоответчик и теперь слушал, как она царственным тоном повелевает ему прибыть незамедлительно по «крайне неотложному поводу», имевшему отношение к Шпульке.

За все два года знакомства Бинки Рейн не заплатила детективу ни пенса, но Джексон считал, что все по-честному, ведь он так и не нашел ни одной пропавшей кошки. Он рассматривал поездки к старухе скорее как социальную помощь: кроме него, бедную перечницу никто не навещал. Он диву давался, как у него хватает терпения на все Бинкины закидоны. Да, карга она, конечно, фашистская, но какая сила духа. Зачем, по ее мнению, кому-то красть у нее кошек? Джексон думал, что она скажет «для опытов» – ночной кошмар всех кошатников-параноиков, – но Бинки считала, что их воровали на перчатки (разумеется, черные).

Джексон раздумывал, не плюнуть ли на эту копушу Николу, дабы явиться по вызову Бинки, но тут дверь дома распахнулась. Джексон сполз пониже на сиденье и притворился, что погружен в «Le Nouvel Observateur». С пятидесяти ярдов он углядел, что Никола не в духе, но это, в принципе, было для нее дефолтным режимом. В наглухо застегнутой уродской форме стюардессы она явно умирала от жары. Костюм ей не шел, а в этих лодочках, как у королевы Елизаветы, у нее были толстые лодыжки. Без макияжа, au naturel[24 - В естественном виде (фр.).], Джексон видел ее только во время пробежек. Она столько бегала, как будто готовилась к марафону. Джексон сам любил бегать – каждое утро по три мили, подъем в шесть, сразу на улицу, прежде чем большинство вылезет из постели, кофе по возвращении. Вот что значит армейская закалка. Армия, полиция и изрядная доза шотландских пресвитерианских генов. («Ты все бегом, Джексон, – говорила Джози. – Если

бежать вечно, то вернешься туда, откуда начал: ты когда-нибудь слышал о кривизне пространства?»)

В спортивной одежде Никола выглядела намного лучше. В униформе она была серой мышью, но во время пробежек по лабиринтам соседних улиц казалась подтянутой и сильной. Для бега она надевала спортивные штаны и старую футболку с эмблемой «Голубых соек»[25 - «Торонтские голубые сойки» – канадский профессиональный бейсбольный клуб.] – наверное, купила в Торонто, хотя за то время, пока Джексон вел за ней слежку, она ни разу не летала за океан. Три рейса в Милан, два в Рим и по одному в Мадрид, Дюссельдорф, Перпиньян, Неаполь и Фару.

Никола села в маленький девчачий «Форд-К» и рванула в Станстед. Нельзя сказать, чтобы сам Джексон ездил медленно, но Никола носилась просто на дикой скорости. Он намеревался предупредить дорожную полицию, когда закроет это дело. До отдела расследований Джексон поработал на дорогах, и теперь ему то и дело хотелось прижать Николу к обочине и арестовать.

Движение замедлилось, они подъезжали к аэропорту. У Джексона снова зазвонил телефон. На этот раз – его секретарша Дебора.

– Ты где? – строго вопросила она, как будто ему надлежало быть совсем в другом месте.

– У меня все в порядке, спасибо, а у тебя как дела?

– Тут звонили, можешь заодно заехать поговорить, раз ты все равно не в конторе.

«Не в конторе»! Можно подумать, он в баре клеит цыпочек.

– А подробнее нельзя?

– Нет. У кого-то там что-то пропало.

В аэропорту Никола строго следовала заведенному ритуалу. Она припарковала машину и вошла в терминал. Джексон следил, пока она не скрылась из виду. Потом сходил в туалет, выпил двойной эспрессо, который не слишком спас от жары, купил сигарет, прочитал заголовки в газете, покупать которую не стал, и уехал.

К тому времени как самолет Николы, следовавший в Прагу, взмыл над равнинами, Джексон уже шагал к большому дому на Оулстон-роуд, пугающе близко от жилища Бинки Рейн. Дверь открыла женщина, заплутавшая где-то на пятом десятке. Она сощурилась на Джексона поверх очков-полумесяцев. Преподша, подумал он.

– Миссис Ленд?

– Мисс Ленд. Амелия Ленд. Спасибо, что пришли.

Амелия Ленд угостила его отвратительным кофе. Джексон уже чувствовал, как эта дрянь разъедает ему желудок. Теперь хозяйка бродила по заброшенной кухне в поисках печенья, хотя Джексон дважды повторил: «Спасибо, не нужно». Наконец она обнаружила пачку отсыревших крекеров в глубинах шкафа, и Джексон прожевал одну печенюшку, чтобы ее порадовать. По вкусу крекер напоминал мягкий слежавшийся песок, но Амелия Ленд, похоже, была довольна, что выполнила обязанности гостеприимной хозяйки.

Вид у нее был растерянный, даже слегка не в себе, но Джексон давно привык к кембриджской университетской публике, хотя она сказала, что живет «в Оксфорде, а не в Кембридже» и «там все совершенно по-другому», и Джексон подумал: «Ну да, ну да», но ничего не сказал. Амелия Ленд все лепетала о голубых мышах, и, когда он мягко сказал ей: «Мисс Ленд, начните с самого начала», она опять завела про голубых мышей, сообщив, что с них все и началось, и добавила: «Пожалуйста, зовите меня Амелия». Джексон вздохнул про себя, предчувствуя, что из этой особы все придется тянуть клещами.

Появилась ее сестра, затем исчезла и появилась снова с какой-то старой куклой в руках. Никто бы не принял их за сестер: одна – высокая, крупная, седеющие волосы выбиваются из пучка на затылке, а другая – маленькая и фигуристая, из тех, что кокетничают со всеми, кто носит брюки (о да, знакомый тип). Губы у

маленькой были накрашены ярко-красной помадой, а ее многослойный наряд состоял из поношенного на вид и не сочетавшегося друг с другом экстравагантного тряпья; свою необузданную гриву она скрутила в узел, из которого торчал карандаш. Обе были одеты тепло, несмотря на знойный день. Немудрено – Джексон и сам поежился, ступив с залитой солнцем улицы в этот зимний сумрак.

– Наш отец умер два дня назад, – сказала Джулия (так звали вторую из сестер) таким тоном, словно это была заурядная неприятность.

Джексон взглянул на лежащую на столе куклу. Потрепанное махровое тельце, длинные тонкие ручки и ножки и мышиная голова. Кукла была голубая. Ну вот, что-то начало проясняться.

– Голубая мышь, – сказал он Амелии, кивнув на игрушку.

– Нет, Голубой Мышонок, – возразила та, как будто это меняло дело.

Амелии Ленд так и просилась на лоб татуировка «Меня никто не любит». Судя по наряду, она перестала покупать одежду лет двадцать назад, а тогда затаривалась исключительно в «Лоре Эшли». Джексону вспомнились старые фотографии торговок рыбой: грубые башмаки с шерстяными чулками, широкая вельветовая юбка в сборку, а на плечах шаль, в которую она зябко куталась, и неудивительно – в комнате было как в Балтике. У дома был свой собственный климат.

– Наш отец умер, – резко произнесла Амелия, – два дня назад.

– Да, – осторожно отозвался Джексон, – ваша сестра только что сказала. Примите мои соболезнования, – добавил он вскользь, поскольку ни та ни другая явно особенно не скорбели.

Амелия нахмурилась:

– Я хочу сказать, что… – Она взглянула на сестру, ища помощи.

«Вечная проблема ученого люда, – подумал Джексон, – никогда не могут сказать то, что думают, и в половине случаев имеют в виду не то, что говорят».

– Давайте я попробую, – пришел он на выручку. – Ваш отец умер… – (Сестры энергично кивнули, будто от облегчения, что Джексон ухватил суть.) – Ваш отец умер, – продолжил он, – и вы начали разбирать вещи в старом семейном доме… – Он запнулся, потому что на их лицах отразилось сомнение. – Это старый семейный дом, так?

– Гм, да, – ответила Джулия. – Просто… – Она поежилась. – Это звучит так тепло, понимаете? «Старый семейный дом».

– Ну, тогда давайте мы лишим эти три слова всякого эмоционального содержания и будем рассматривать их просто как два прилагательных с существительным. Старый. Семейный. Дом. Так или нет?

– Так, – нехотя отозвалась Джулия.

– Строго говоря, – произнесла Амелия, безотрывно глядя в кухонное окно, словно разговаривала с кем-то в саду, – не «семейный», лучше будет «родовой».

Джексон решил пропустить эту реплику мимо ушей.

– Значит, вы не были близки со своим стариком? – обратился он к Джулии.

– Нет, не были, – заявила Амелия, повернувшись и посмотрев на него в упор. – И мы нашли это в запертом ящике у него в кабинете.

Снова эта голубая мышь. Голубой Мышонок.

– И что означает этот Голубой Мышонок? – подтолкнул ее Джексон.

Он надеялся, разгадка не в том, что их папаша был фетишистом, помешанным на мягких игрушках.

– Вы когда-нибудь слышали про Оливию Ленд? – спросила Джулия.

– Вроде что-то припоминаю, – ответил Джексон. Припоминал он очень смутно. – Родственница?

– Она была нашей сестрой, – сказала Амелия. – Исчезла тридцать четыре года назад. Ее похитили.

Похитили? О нет, только не инопланетяне, тогда день точно пройдет не зря. Джулия достала сигареты и предложила ему закурить. Она предлагала сигарету, но намекала на секс. Джексон почувствовал неодобрение ее сестры, но не был уверен, относилось оно к никотину или к сексу. Скорее всего, и к тому, и к другому. От сигареты Джексон отказался – он никогда не курил в присутствии клиентов, – но, когда закурила Джулия, сделал глубокий вдох.

– Ее похитили, – сказала Джулия, – из палатки в саду.

– Из палатки?

– Это было летом, – резко бросила Амелия. – Летом дети спят в палатках на свежем воздухе.

– Конечно, – мягко согласился Джексон.

Ему почему-то показалось, что вторым ребенком в той палатке была Амелия Ленд.

– Ей было всего три года, – продолжила Джулия. – Ее так и не нашли.

– Вы действительно ничего об этом не знаете? – удивилась Амелия. – Дело было громкое.

– Я родом не из этих мест, – ответил Джексон и подумал обо всех девочках, что пропали за эти тридцать четыре года.

Но, конечно же, для сестер Ленд пропала только одна. Он внезапно почувствовал себя очень несчастным и очень старым.

– Тогда стояла ужасная жара, – сказала Амелия, – засуха.

– Как сейчас?

– Да. Вы не собираетесь ничего записывать?

– А вам было бы спокойнее, если бы я записывал?

– Нет, – отрезала Амелия.

Беседа, казалось, зашла в тупик. Джексон посмотрел на Голубого Мышонка. На нем прямо читалось «улика». Детектив попробовал соединить все воедино.

– Значит, так, – начал он. – Это игрушка Оливии, и она была у вашей сестры, когда ее похитили? И вы снова увидели ее после смерти отца? И вы не позвонили в полицию?

Они обе нахмурились. Забавно, лица у сестер были совсем разные, а выражения на них – абсолютно одинаковые. Так вот что имеют в виду, когда говорят «неуловимое сходство».

– У вас замечательные дедуктивные способности, мистер Броуди, – сказала Джулия.

Было непонятно, подшучивает она над ним или просто льстит. У нее был хрипловатый голос, как будто она вечно простужена. Джексона удивляло, что многие мужчины находят хрипотцу у женщин сексуальной, ведь такой голос похож на мужской. Может, это что-то гейское.

– Тогда полиция ее не нашла, – сказала Амелия, не обращая внимания на Джулию. – И теперь это будет им вовсе не интересно. Кроме того, может быть, лучше не вмешивать в это полицию.

– Тогда я вам зачем?

– Мистер Броуди, – очень нежно, слишком нежно проворковала Джулия. Они были как хороший и плохой полицейский. – Мистер Броуди, мы просто хотим узнать, почему Голубой Мышонок оказался у Виктора.

– У Виктора?

– У папы. Это как-то…

– Странно? – подсказал Джексон.

Джексон снял себе жилье подальше от кембурнского гетто. Небольшой домик в ряду других таких же домиков, на дороге, которая когда-то, вероятно, была проселочной. Возможно, это были фермерские коттеджи. Какой бы ферме они ни принадлежали, ее давным-давно застроили сплошными рядами викторианских домов для рабочего класса. Теперь даже те дома, что стыковались задними стенами и выходили парадной дверью прямо на улицу, стоили в этом районе целое состояние. Беднота перекочевала в пригороды типа Милтона и Черри-Хинтона, но сейчас даже муниципальные застройки в тех местах были колонизированы интеллигенцией из среднего класса (такими как чета Спенсер), что наверняка бедняков изрядно бесило. Бедняки всегда были и всегда будут, но вот где же они теперь живут, Джексон не смог бы ответить.

Когда Джози бросила его ради внебрачных утех с Дэвидом Ластингемом, Джексон подумывал, не остаться ли ему жить в их семейном лего-домике. Этой мыслью он играл минут десять, после чего позвонил риелтору и выставил дом на продажу. Его половины вырученных денег на новый дом не хватало, поэтому он решил снять этот – последний по улице, довольно ветхий и с такими тонкими стенами, что слышно любое пуканье и мяуканье у соседей. Дешевая мебель и безликая атмосфера, как в домах, которые сдают отдыхающим на сезон, – но, как ни странно, это действовало на Джексона успокаивающе.

Уезжая из дома, который он делил с женой и дочерью, Джексон заглянул в каждую комнату – проверить, что там ничего не осталось, кроме их жизни, конечно. В ванной еще пахло ее духами – «L’Air du Temps», Джози пользовалась ими задолго до того, как он ее встретил. Теперь она душилась «Joy» от «Жана Пату», которые ей подарил Дэвид Ластингем; этот старомодный запах будто превращал ее в другую женщину, которой она, впрочем, стала и без того. Джози, которую он знал, слышать не хотела о том, что положено было уметь хорошей жене поколения ее матери. Она плохо готовила, и у нее не было корзинки для шитья, зато она делала в их игрушечном домике весь мелкий ремонт. Однажды она заявила ему, что, когда женщины узнают, что дюбель не такая уж и

загадочная штуковина, они станут править миром. Джексон считал, что они и так уже вовсю правят, и опрометчиво поделился своими мыслями, что вылилось в напичканную статистикой лекцию о мировой гендерной политике: «Две трети объема работ в мире выполняют женщины, Джексон, но им принадлежит всего одна десятая мировой собственности. Ты считаешь, это нормально?» (Нет, он так не считал.) Теперь-то, конечно, она превратилась в хозяюшку, в степфордскую жену[26 - Аллюзия на сатирический триллер Айры Левина «Степфордские жены» (1972). Дважды экранизирован – Брайаном Форбсом в 1975 г. и Фрэнком Озом в 2004-м.], которая печет хлеб и ходит на курсы вязания. Вязания! В голове не укладывалось.

Переехав в свой съемный дом, он купил флакон «L’Air du Temps» и опрыскал ими крошечную ванную, но эффект все равно был не тот.

Амелия с Джулией дали ему фотографию, маленькую, квадратную, выцветшую цветную фотографию из других времен. На снимке была Оливия крупным планом, она улыбалась в камеру, показывая ровные зубки. Веснушчатый курносый нос, волосы заплетены в баранки, завязанные ленточками в бело-зеленую клетку (правда, старая карточка давно пожелтела). На ней было платьице из такой же ткани, что и ленты, а сборочки на груди закрывал голубой мышонок, которого девчушка прижимала к себе. Джексон догадался, что она уговаривала голубого мышонка позировать перед камерой, почти слышал, как Оливия велит ему улыбаться, но наклеенные на мордочку куски черного трикотажа хранили все то же серьезное выражение, что и сейчас, правда, время лишило мышонка половинки глаза и одной ноздри.

Это была та самая фотография, что печатали в газетах. По дороге домой Джексон просмотрел картотеку с микрофильмами, бесконечные страницы о поисках Оливии Ленд. Сводки печатали несколько недель, и Амелия была права: до исчезновения Оливии главной новостью была жара. Джексон попытался вспомнить, что было тридцать четыре года назад. Ему тогда было одиннадцать. Стояла жара? Да кто ж его знает. Он не помнил тот год. Главное, что тогда ему еще не было двенадцати. Все предыдущие годы, до того как ему исполнилось двенадцать, слились в чистейшее, незапятнанное сияние. После двенадцати наступил мрак.

Он прослушал автоответчик. Одно сообщение от его дочери Марли – она жаловалась, что мать не пускает ее на концерт на открытом воздухе в Паркерс-

Пис, и пусть Джексон, пожалуйста, пожалуйста, с ней поговорит? (Марли восемь, ни о каком концерте в парке не могло быть и речи.) Еще одно послание от Бинки Рейн насчет Фриски, и одно – от его секретарши Деборы Арнольд, устроившей ему разнос за то, что он не вернулся в офис. Она звонила из дому – на заднем фоне бубнили ее дети-подростки и орало Эм-ти-ви. Чтобы сообщить ему о том, что его искал какой-то Тео Уайр – «вроде он что-то там потерял», – Деборе пришлось перейти на крик. Тео Уайр… очень знакомо, но Джексон не мог вспомнить, кто это. Наверное, штарошть подступила.

Джексон взял из холодильника бутылку «Тайгера»[27 - «Тайгер» – марка сингапурского пива.], стянул ботинки («Магнум Стелс», других он не признавал), улегся на неудобный диван, дотянулся до проигрывателя (чем хороша тесная конура – все можно достать, не вставая с дивана) и поставил альбом Триши Йервуд[28 - Патриша Линн Йервуд (р. 1964) – американская кантри-певица.] девяносто пятого года «В думах о тебе», сейчас почему-то изъятый из продажи. Может, и мейнстрим, но поет она от этого не хуже. Триша понимает боль. Он открыл «Введение во французскую грамматику» и попытался сосредоточиться на правилах образования прошедшего времени с глаголом ?tre (хотя, когда он поселится во Франции, не будет ни прошлого, ни будущего, только настоящее), но получалось с трудом – мешала пульсировавшая десна над больным зубом.

Джексон вздохнул, снял голубого мышонка с каминной полки, прижал к плечу и похлопал по маленькой мягкой спинке – так же он утешал Марли, когда та была совсем крохой. Голубой мышонок был холодным на ощупь, словно долгое время провел в темноте. Джексон ни минуты не надеялся отыскать маленькую девочку с клетчатыми бантами в косичках.

Джексон закрыл глаза и тут же открыл снова, потому что вдруг вспомнил, кто такой Тео Уайр. Он застонал. Он не хотел вспоминать Тео Уайра. Не хотел иметь с ним никаких дел.

Триша пела «Автобус до Сент-Клауда». Иногда ему казалось, что весь мир можно представить в виде бухгалтерского баланса: потерянное – слева, найденное – справа. К сожалению, баланс никогда не сходился. Амелия с Джулией нашли, Тео Уайр потерял. Как проста была бы жизнь, если бы пропажи совпадали с находками.

5

Амелия

Виктор умер, как и хотел, дома, в собственной постели – от старости. Ему было восемьдесят четыре года, и, сколько они себя помнили, он всегда настаивал, чтобы его похоронили в гробу, а не кремировали. Тридцать четыре года назад, когда их сестра Аннабель умерла в младенчестве, Виктор купил на местном кладбище «семейный участок» на трех человек. Амелия с Джулией никогда не задумывались о такой странной арифметике до смерти самого Виктора, когда участок был уже на две трети занят (их мать последовала за Аннабель с неожиданной поспешностью), то есть место оставалось только для Виктора, но не для других его детей.

Джулия заявила, что это типичное проявление наплевательского к ним отношения, но Амелия возразила, что отец, скорее всего, купил такой участок намеренно, чтобы ему не пришлось коротать загробную жизнь в старой компании, на случай если окажется, что она все-таки существует. На самом деле Амелия ничего такого не думала – Виктор был атеистом до мозга костей, упрямцем и грубияном, и не в его характере было вдруг начать прикрывать тылы, – просто она так привыкла возражать сестре, что сделала это на автомате. В спорах Джулия проявляла хватку (и голосистость) терьера, поэтому они вечно препирались на пустом месте, как пара давно потерявших интерес к тяжбе адвокатов. Иногда им казалось, что они вернулись в свое бурное детство и в любой момент начнут исподтишка щипаться, таскать друг друга за волосы и обзываться, как в те далекие годы.

Их вызвали. «Прямо к смертному одру короля», – фыркнула Джулия. А Амелия сказала: «Ты сейчас „Короля Лира“ имеешь в виду?» А Джулия сказала: «Что, если и так?» И Амелия сказала: «Ты можешь судить о жизни, только если видела ее на сцене». А Джулия сказала: «Иди ты к черту, ты сама вспомнила про Лира». И они продолжили в том же духе, хотя поезд еще не успел отойти от вокзала Кингз-Кросс. Виктор умер через несколько часов после их приезда. «Черт, пронесло», – заявила Джулия, поскольку у сестер было подозрение, что Виктор пытается заманить их в семейное гнездо, чтобы они ухаживали за ним. Им обеим было ненавистно слово «дом» – прошел не один десяток лет, с тех пор как они его покинули, и все же они его так называли.

Амелия сказала: «Извини», но Джулия пялилась в окно на проносившиеся мимо лондонские пригороды и не раскрывала рта до тех пор, пока не показались наливающиеся летние поля Восточной Англии. «Лир не умирал, он отрекался от престола», – изрекла она, и Амелия сказала: «Иногда это одно и то же» – и обрадовалась, что они помирились.

Они сидели по обе стороны кровати, ожидая, когда он умрет. Виктор лежал на постели, как выброшенная на берег рыбина, в комнате, которая когда-то была супружеской спальней и сохранила преувеличенно женственный интерьер, любимый их матерью. Готовилась ли Розмари в этот самый момент встретить Виктора в вязкой земле семейного участка? Амелия представила, как родители сжимают тела друг друга в холодном объятии, и ей стало жаль свою бедную мать, которая, наверное, думала, что сбежала от Виктора навсегда.

Кроме того, заметила Амелия, как ни старалась она удержаться, продолжая спор, никто из них не стремился быть рядом с отцом при жизни, так зачем им близость после смерти? Джулия ответила, что это не важно, что «дело в принципе», а Амелия сказала: «С каких это пор у тебя появились принципы?» – и разговор снова пошел по наклонной, и это они еще не начинали обсуждать самую муторную тему – похороны, относительно которых Виктор не оставил никаких указаний.

Когда они перестали называть его папой и перешли на Виктора? Джулия иногда обращалась к нему «папа», особенно когда пыталась улестить, но Амелии нравилось «Виктор», это помогало держать дистанцию. И пожалуй, придавало ему человечности.

Виктор зарос белой щетиной и из-за этой бороды и старческой худобы стал непохож на самого себя. Только руки не усохли, по-прежнему были огромные – костлявые лопатищи на запястьях-черенках. Внезапно он что-то забормотал, и Джулия в панике взглянула через кровать на Амелию. Джулия была готова к тому, что он умирает, но не к тому, что он будет не в себе. «Папа, тебе что-нибудь нужно?» – громко спросила она, и Виктор замотал головой, точно разгоняя мух, но услышал он ее или нет, кто знает.

Врач Виктора сказал по телефону, что участковые медсестры приходят к нему трижды в день. «Заглядывают», как он выразился, что создавало впечатление

веселой непринужденности, но ни Амелия, ни Джулия не предполагали, что так можно описать смерть Виктора, поскольку к его жизни подобное определение было точно неприменимо. Они думали, что медсестры останутся, но не успели они войти, как одна из них заявила: «Ну, мы пойдем», а другая ободряюще крикнула Виктору через плечо: «Они здесь!» – словно Виктор с нетерпением ждал приезда дочерей, что, конечно же, не соответствовало действительности, а единственным, кто им обрадовался, был Сэмми, старый золотистый ретривер, сделавший галантную попытку их поприветствовать, несмотря на артрит, неловко виляя задом и клацая когтями по скользкому паркету в коридоре.

По словам врача, у Виктора случился обширный инсульт. За месяц до того другой врач говорил им, что Виктор вполне здоров и что у него «сердце буйвола», просто годы берут свое. Амелия сочла, что «сердце буйвола» не особенно внятное выражение, разве не правильнее было бы сказать «сердце льва» или «здоров как буйвол»? Что вообще такое буйвол? Просто бык, корова? В этом и во многом другом Амелия больше не была уверена (или, может, она никогда всего этого и не знала). Скоро ей будет уже не за сорок, а под пятьдесят; она убеждала себя, что чувствует, как каждый день в ее мозгу разрушаются нейронные связи – объединяются, образуют рефлекторную дугу и погибают, – лишая ее доступа к информации. До самого конца у Виктора в голове все было на своих местах, как в хорошей библиотеке, в то время как Амелии ее разум представлялся чуланом под лестницей, где допотопные хоккейные клюшки соседствуют со сломанными пылесосами и коробками старых елочных игрушек, и, за чем бы она туда ни полезла – за пятиамперным предохранителем, жестянкой с рыжим кремом для обуви или отверткой «Филипс», – шансы найти нужную вещь стремились к нулю.

Может, разум Виктора и оставался в порядке, но его дом – отнюдь нет. Дети разъехались, дом медленно, но верно ветшал, пока не стал напоминать заброшенную лачугу вроде тех, куда вызывают специалистов по санобработке, когда какой-нибудь несчастный, незаметно для всех умерев, пролежит месяц в луже собственной сгнившей плоти.

Куда ни посмотри, везде были книги, все до единой покрытые плесенью и бурыми пятнами, и ни одну не хотелось взять в руки. Виктор уже давно забросил математику, не следил за новыми теориями, не интересовался журналами и публикациями. В детстве Розмари говорила им, что Виктор «великий» математик (или это сам Виктор так говорил), но если он и пользовался каким-то авторитетом в академических кругах, то много лет назад растерял его и

оставался не более чем заурядным факультетским тружеником. Его специализацией была теория вероятности. Амелии этот раздел математики категорически не давался (он вечно пытался объяснить ей, что такое вероятность, подбрасывая монеты), но ей виделась ирония в том, что человек, зарабатывавший на жизнь изучением риска, никогда в жизни не рисковал.

– Милли? Ты в порядке?

– Что такое буйвол?

– Типа как бык. – Джулия пожала плечами. – Я не знаю. А что?

В детстве они ели бычье сердце. Розмари, не сварившая до замужества и яйца, выучилась готовить грубые, старомодные блюда, которые Виктор одобрял за питательность и дешевизну. Интернатская еда – он на такой вырос. Амелию затошнило от одной мысли о рагу с печенью и беконом и запеканках с говядиной и свиными почками. У нее перед глазами до сих пор было окровавленное сердце на кухонном столе, темное, блестящее, с прожилками жира, как будто только что переставшее биться, и мать, изучавшая его с загадочным лицом и огромным ножом в руке.

– Я помню суп из бычьих хвостов, – сказала Джулия с гримасой отвращения. – Он правда был из настоящих хвостов?

Розмари ушла из жизни очень легко. Она не выказала никакого желания бороться за нее, когда выяснилось, что у малютки, которую она вынашивала в год исчезновения Оливии, был близнец, но не долгожданный сын Виктора, а подкидыш-опухоль, которая беспрепятственно росла и разбухала внутри ее. К тому времени как врачи распознали симптомы не новой жизни, но скорой смерти, было уже слишком поздно. Аннабель прожила всего несколько часов, а ее раковый двойник был удален, но через полгода не стало и самой Розмари.

Виктор как будто захрапел, задышал тяжело, с присвистом, словно трахея вот-вот сожмется и слипнется. Через равные интервалы следовал ужасающий по силе вдох, когда срабатывал рефлекс и дыхание восстанавливалось. Амелия с Джулией озабоченно переглянулись. «Это предсмертный хрип?» – прошептала Джулия, но Амелия шикнула на нее. В конце концов, невежливо обсуждать

механизм умирания в присутствии умирающего. «Он же ничего не слышит». – «Не в этом дело».

Через какое-то время хрипы стихли, и Виктор по всем признакам мирно спал. Амелия заварила чай – сперва хорошенько отмыв чашки, – и они выпили его, стоя у окна, глядя в темноту сада.

«Что насчет похорон? – прошептала Джулия. – Он, наверно, не хотел бы ничего такого, христианского?» Если не считать пары вялых попыток Розмари отправить их в воскресную школу, они выросли без религии. Будучи математиком, Виктор считал своей обязанностью привить дочерям скептицизм, особенно потому, что считал их легкомысленными, кроме Сильвии конечно же, которая всегда выезжала на зубрежке формул. После того как она их покинула, Виктор превратил «зубрилу» в «одаренного ребенка», а потом и в «маленького гения», то есть чем дольше ее не было, тем умнее она становилась, тогда как Амелия с Джулией, по его убеждению, только тупели. Было время, когда Амелии случалось с ним спорить, хотя на защиту гуманитарных наук чаще бросалась Джулия – Амелии было трудно противостоять грубости Виктора. Может, он был прав, думала она теперь, они ведь и правда не семи пядей во лбу.

«Ну, что думаешь? – спросила Джулия. – Он ведь оставил нам дом? А денег оставил, как думаешь? Ох, вот бы». Виктор никогда не обсуждал с ними свое завещание, никогда не говорил с ними о деньгах. Создавалось впечатление, что у него ни гроша за душой, но, с другой стороны, он всегда был скупцом. Джулия снова принялась ныть по поводу семейного участка, и Амелия сказала: «Знаешь, быстрее будет его кремировать. По-моему, разрешение на похороны получать дольше».

«Но тогда мы будем прокляты до конца жизни, – сказала Джулия, – как дочери в древнегреческой трагедии, не справившие обрядов над телом отца-царя». А Амелия сказала: «Мы не в пьесе, Джулия, забудь про Еврипида», а Джулия возразила: «Нет, правда, Милли, плохо уже то, что мы его не любили», а Амелия сказала: «Мне плевать» – и нахмурилась, осознав, что говорит совсем как ее студенты.

Джулия заявила, что хочет вздремнуть, и примостилась, опустив голову на руки, на несвежем покрывале, словно таким странным образом оказывала почтение умирающему отцу. Огромные руки Виктора были благочестиво сложены на одеяле, символизируя готовность к смерти. От него потребовалось бы лишь

малейшее усилие, чтобы воздеть длань и дать Джулии последнее благословение. Прикасался ли он к ним когда-нибудь по-доброму? Целовал? Обнимал? Трепал ли ласково по щеке? Амелия не могла вспомнить. «Разбуди меня, если что-нибудь случится, – пробормотала Джулия, – если он умрет или еще что». Джулия по-прежнему умела спать без задних ног и через считаные минуты вырубилась, как и Виктор. Амелия посмотрела на темные кудри сестры, и ее вдруг захлестнула нежность, больше походившая на горечь.

В последнее время у Джулии было мало работы. Раньше она играла постоянно: в провинциальном театре, в новаторских постановках в крошечных лондонских студиях и в эпизодических ролях на телевидении – была жертвами из низов общества в «Фараонах»[29 - «Фараоны» («The Bill», с 1984) – британский полицейский телесериал.] и смертельно больными в «Несчастном случае»[30 - «Несчастный случай» («Casualty», с 1986) – сериал на канале Би-би-си о врачах и пациентах отделения скорой помощи.] (за последние десять лет ей пришлось умереть дважды), но теперь, похоже, ее перестали звать на пробы. В прошлом году она снялась в обучающем фильме для дочернего предприятия нефтяной компании, и Амелия возмутилась, заявив, что ей бы «следовало подумать о своих убеждениях», на что Джулия ответила, что легко позволить себе «роскошь иметь убеждения, когда в холодильнике есть еда», а Амелия парировала: «Не надо драм, когда это ты голодала?» – но теперь ей было стыдно, потому что Джулия так радовалась новой работе, а она ей все испортила.

Амелия видела практически все роли Джулии и, хотя всегда говорила сестре, что она «прекрасна», как того требовал театральный протокол, часто ловила себя на мысли, что на самом деле как актриса Джулия не представляет собой ничего особенного. Свою лучшую роль, по мнению Амелии, Джулия сыграла в Бристоле. Давали что-то общеизвестное, возможно «Золушку». Джулия была черным пуделем, подстриженным под льва, и говорила с французским прононсом. Собачий костюм сидел на низенькой и грудастой Джулии как влитой, и ей удалось изобразить специфическое парижское высокомерие – зрители были в восторге. Парик ей не понадобился, она собрала свои буйные кудри в пучок на макушке и повязала бантом. Амелия никогда не представляла сестру пуделем – только джек-расселом. Ей вдруг стало очень грустно оттого, что лучшей ролью за всю карьеру Джулии была собака. И что ей не нужен парик, чтобы сыграть пуделя.

Он умер? Он вполне мог сойти за мертвеца и во сне – лежал на спине с закрытыми глазами, приоткрыв клювоподобный рот, – но никаких признаков затрудненного дыхания больше не наблюдалось, а кожа приобрела оттенок сырого цемента, который внезапно вызвал у Амелии в памяти покойную Розмари на больничной койке, – это было настолько неожиданно, что она секунд пять не могла шелохнуться. Видно, она тоже задремала. Недостойные царские дочери, не сумели даже подежурить у смертного одра.

Сэмми неловко поднялся с коврика у кровати и подковылял к Амелии, вопросительно ткнувшись сухим носом ей в руку. «Ах ты, бедолага», – сказала Амелия псу. Она легонько потрясла Джулию и сообщила, что Виктор умер. «Откуда ты знаешь?» – сонно протянула Джулия. На щеке у нее багровел отпечаток от часов. «Потому что он не дышит», – ответила Амелия.

Со смертью Виктора настроение у них стало чуть ли не праздничное, и, хотя было только шесть утра, Джулия, словно исполняя некий посмертный ритуал, щедро плеснула им обеим бренди. Амелия думала, что выпивка не пойдет, но, к собственному удивлению, осушила стакан с удовольствием. В восемь, уже изрядно набравшись, они отправились в местный «Спар» за продуктами и кидали в корзинку все то, что Амелия при обычных обстоятельствах никогда не покупала: бекон, колбасу, обсыпанные мукой пшеничные булочки, шоколад и джин, – хихикая, как школьницы-пипетки, которыми они были так давно, что уже и забыли.

Вернувшись в Викторов дом, они сделали сэндвичи с беконом и яичницей; Джулия умяла три, Амелия ограничилась одним. Едва покончив с едой, Джулия закурила.

– Бога ради, – поморщилась Амелия, отгоняя дым от лица, – тебе непременно надо что-то в рот запихивать, иначе не можешь!

Джулия курила театрально, устраивая целое представление, – такая у нее была манера, что бы она ни делала. Подростком она обычно практиковалась перед зеркалом (по воспоминаниям Амелии, многое в жизни юной Джулии репетировалось перед зеркалом). Джулия поднесла руку с сигаретой ко рту, и в утреннем свете блеснула тонкая серебристая полоска шрама в том месте, где был пришит отрезанный мизинец.

Почему в детстве они постоянно калечились? Был ли это способ привлечь внимание Розмари (или хоть кого-нибудь), выделиться из месива Амелия-Джулия-Сильвия? Джулия с Амелией так и остались неуклюжими, всегда в синяках от столкновений с мебелью и спотыканий о ковры. Только в прошлом году Амелия уронила себе на ногу чугунную сковородку и прищемила руку дверцей машины, а Джулия схлопотала в такси травму шеи и растянула лодыжку, упав со стремянки. Амелия не видела особого смысла привлекать внимание, когда тебе уже за сорок, особенно если рядом никого нет.

– Помнишь, как Сильвия падала в обморок? – спросила она Джулию.

– Нет. С трудом.

Всякий раз, когда она вспоминала, что Виктор умер, у Амелии кружилась голова. Чувство было такое, будто с плеч у нее сняли тяжелый камень и теперь она может взмыть вверх, словно летучий змей или воздушный шар. Труп так и лежал под одеялом наверху, в спальне, и хотя они знали, что нужно что-то сделать, куда-то позвонить, принять меры, но их одолела странная лень.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Бэкс – парковая зона в Кембридже между колледжами и рекой Кем. – Здесь и далее примеч. перев.

2

«Грязные танцы» (1987) – фильм американского режиссера Эмиля Ардолино с Патриком Суэйзи в главной роли. Мистер Пузырь – персонаж развлекательного телешоу на канале Би-би-си «Вечеринка у Ноэля» (1991–1999), розовое существо с жуткой ухмылкой.

3

Паркерс-Пис – большой (около 100 тыс. кв. м) газон в центре Кембриджа, место для пикников, велосипедных прогулок и спортивных игр.

4

«Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» – роман Энн Бронте (1820–1849), младшей сестры Эмили и Шарлотты.

5

В Первую мировую войну наступательная операция англо-французских армий на французской территории (в бассейне реки Соммы) с 24 июня по середину ноября 1916 г., в которой союзники одержали победу над немцами и обе стороны понесли колоссальные потери.

6

Томас Гарди (1840–1928) – английский писатель и поэт, воспевший «Зеленую Англию».

7

Дженнифер Сьюзен Мюррей (р. 1950) – британская журналистка и радиоведущая, активная феминистка.

8

Томас Фредерик «Томми» Купер (1921–1984) – британский комик и иллюзионист, не расстававшийся с сигарой.

9

Эллисон Мурер (р. 1972) – американская кантри-певица, «Alabama Song» (1998) – ее дебютный альбом.

10

Здравствуй, грусть (фр.). Так назвала свой первый роман (1954) писательница Франсуаза Саган (1935–2004).

11

Шары (фр.) – собирательное название игр с металлическими шарами, включая петанк (французский боулинг).

12

Брюс Спрингстин (р. 1949) – американский рок– и фолк-музыкант.

13

«Новый обозреватель» (фр.) (с 1964) – французский еженедельник, одно из крупнейших новостных изданий.

14

«Хелло!», «Хит» – популярные еженедельные журналы с новостями о знаменитостях.

15

У Спенсеров (фр.).

16

В саду (фр.).

17

Понстан – нестероидное противовоспалительное средство в таблетках.

18

«Кармина Бурана» – кантата, написанная немецким композитором Карлом Орфом в 1935–1936 гг. на тексты средневековой поэзии.

19

Питерхаус – старейший колледж Кембриджского университета, основан в 1284 г.

20

Дон – так по традиции называют преподавателей в английских университетах.

21

Роберт Скотт (1868–1912) – офицер британского флота и полярный исследователь, в 1901–1904 гг. возглавлял экспедицию в Антарктику на борту судна «Дискавери».

22

Эрнест Шеклтон (1874–1922) – британский полярный исследователь, участвовал в экспедиции Скотта на «Дискавери», позже возглавил собственную экспедицию к Южному полюсу.

23

Роберт Пири (1856–1920) – американский исследователь Арктики.

24

В естественном виде (фр.).

25

«Торонтские голубые сойки» – канадский профессиональный бейсбольный клуб.

26

Аллюзия на сатирический триллер Айры Левина «Степфордские жены» (1972). Дважды экранизирован – Брайаном Форбсом в 1975 г. и Фрэнком Озом в 2004-м.

27

«Тайгер» – марка сингапурского пива.

28

Патриша Линн Йервуд (р. 1964) – американская кантри-певица.

29

«Фараоны» («The Bill», с 1984) – британский полицейский телесериал.

30

«Несчастный случай» («Casualty», с 1986) – сериал на канале Би-би-си о врачах и пациентах отделения скорой помощи.

Купить: https://tellnovel.com/ru/keyt-atkinson/prestupleniya-proshlogo-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить